

*Борис Сокалов*

**БУЛГАКОВ**

**МАСТЕР и ДЕМОНЫ  
СУДЬБЫ**



Булгаков. 125 лет Мастеру

Борис Соколов

**Булгаков. Мастер и демоны судьбы**

«Яуза»

УДК 821.161.1.09  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

**Соколов Б. В.**

Булгаков. Мастер и демоны судьбы / Б. В. Соколов — «Яуза»,  
— (Булгаков. 125 лет Мастеру)

ISBN 978-5-699-87443-9

К 125-летию Михаила Булгакова. Творческая биография одного из величайших писателей XX века. Самое объективное и полное жизнеописание Мастера, не замалчивающее даже наиболее спорные и болезненные переломы его судьбы. Исчерпывающая информация не только обо всех произведениях Булгакова, но и о его личной жизни, его ангелах и демонах. Турбины и Хлудов, Шариков и Преображенский, Мольер и Максудов, Иешуа и Пилат, Воланд и Бегемот, Мастер и Маргарита – булгаковский гений создал целую Вселенную, населив ее незабываемыми героями. Но его собственная судьба стала «хождением по мукам»... Служба в Белой гвардии и наркотическая зависимость, литературные склоки и театральные интриги, цензурные запреты и любовные безумства, помощь Сталина и запрет булгаковской пьесы о Вожде, фатальный диагноз и работа над «Мастером и Маргаритой» наперегонки со смертью – эта книга проливает свет и на главные загадки творчества Булгакова, и на лабиринты его судьбы.

УДК 821.161.1.09  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-699-87443-9

© Соколов Б. В.  
© Яуза

## Содержание

К читателю	6
Глава 1. «Разговора про литературу тогда никакого не было»	10
Глава 2. «Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество!»	42
Глава 3. «Меня мобилизовала пятая по счету власть»	55
Конец ознакомительного фрагмента.	65

# **Борис Соколов**

## **Булгаков. Мастер и демоны судьбы**

В коллаже на обложке использована фотография: Архивный фонд Фото ИТАР-ТАСС.

© Соколов Б., 2016

© ООО «Издательство «Яуза», 2016

© ООО «Издательство «Э», 2016

## К читателю

Из всех писателей 20—30-х годов XX века Михаил Булгаков, наверное, в наибольшей мере сохраняется в российском общественном сознании. Сохраняется не столько своей биографией, из которой вспоминают обычно его письма Сталину и единственный телефонный разговор с тираном, сколько своими гениальными произведениями, главное из которых – «Мастер и Маргарита». А вот «Дни Турбиных», «Бег», «Мольер», «Александр Пушкин» отходят на второй план, чтобы, быть может, через десятилетия алмазом сверкнуть в чьей-то незаурядной постановке. Зато пробудился вновь интерес к «Белой гвардии», к мыслям писателя о судьбах России и русской интеллигенции, ставшим актуальными после краха коммунистического режима в СССР и в свете переживаемого Россией смутного времени.

Булгаков-писатель и Булгаков-человек до сих пор во многом загадка. Неясны до конца его политические взгляды, отношение к религии, эстетическая программа. Литературно-критических статей он почти не писал, в письмах о политике и эстетике ничего не говорил, позднейшие воспоминания современников создавались с оглядкой на цензуру; осторожна и вдова писателя Елена Сергеевна Булгакова в своих дневниках. Правда, чудом уцелел сожженный, но возродившийся, как феникс из пепла, булгаковский дневник 20-х годов, а главное – его произведения, в которых писатель за свою короткую жизнь успел выразить себя до конца, до самого дна души, точно под взглядом всевидящего и всезнающего Воланда.

Были еще тысячи и тысячи книг, прочитанных Булгаковым и преображенных его гением в романах и пьесах, рассказах и фельетонах. Преломление чужих литературных образов часто помогает понять взгляды самого писателя. А узнаваемые персонажи-современники нередко позволяют приоткрыть непрочитанные еще страницы булгаковской биографии.

Можно сказать, что Булгаков прожил три жизни: обычную, не писательскую; жизнь писателя, познавшего успех, славу, но затем суровой рукой «пролетарской критики» вычеркнутого из литературы; и жизнь театрального режиссера, а потом либреттиста, вынужденного писать только «в стол». До 1919 года Михаил Афанасьевич – врач, только изредка пробуя себя в литературе. В 20-е годы он уже профессиональный прозаик и драматург, зарабатывающий на жизнь литературным трудом и осененный громкой, но скандальной славой «Дней Турбиных». Наконец, в 30-е годы Булгаков – театральный служащий, поскольку существовать на доход от публикаций и постановок уже не может – не дают. В это десятилетие он пишет «в стол» и создает нетленный шедевр – «Мастера и Маргариту». Будто три разных человека жили. А ведь на самом деле один и тот же, только вынужденный по-разному приспосабливаться к жизненным обстоятельствам, по-разному выражать свою творческую сущность.

В жизни Булгакова было немного значительных, ярких событий, а наиболее драматичный период его биографии – годы Гражданской войны – до сих пор покрыт тайной, вокруг которой мы вынуждены строить самые разные догадки. Но созданное им в литературе и театре – из самого драгоценного, что когда-либо было сотворено в России и мире.

Автор не ставит перед собой невыполнимой задачи раскрыть и убедительно истолковать все тайны булгаковской жизни и творчества. Верно, что каждая новая эпоха требует и новой биографии полюбившегося писателя. Сегодня, когда изданы все художественные произведения Булгакова, изучены и в основном опубликованы его рукописи, переписка и биографические документы, вряд ли можно ожидать, что появятся сенсационные материалы, которые перевернут наши представления о Булгакове. Но потребность в осмыслении и переосмыслении, переписывании булгаковской биографии, нового обращения к творчеству писателя существует всегда. И если автору удалось хоть немного приоткрыть завесу тайны над булгаковским творчеством и непростой, негладкой жизнью писателя, сделать Булгакова и его героев ближе

и понятнее современникам (хотя всякое познание непременно рождает и новые вопросы), он свою задачу сочтет выполненной.

Сам Булгаков незадолго до смерти, 8 ноября 1939 года, в беседе с сестрой, Надеждой Афанасьевной Земской, согласно записи в ее дневнике, так высказался о биографическом жанре: «О биографах...», «Тетка-акушерка...». Мое замечание о том, что я хочу писать воспоминания о семье. Он недоволен. «Неинтересно читать, что вот приехал в гости дядя и игрушек привез... Надо уметь написать. Надо писать человеку, знающему журнальный стиль и законы журналистики, законы создания произведения...»

В последние месяцы он подумывал о том, чтобы все-таки написать хоть какие-то воспоминания в помощь будущим биографам. В письме к другу юности Александру Петровичу Гдешинскому Булгаков признавался: «...я тоже все время приковываюсь к воспоминаниям и был бы очень благодарен тебе, если бы ты помог мне в них кое в чем разобраться. Дело касается главным образом музыки и книг». Надежда Афанасьевна в связи с этим отметила в дневнике: «Миша... что-то хотел писать о Киеве и юности; может быть, хотел сам писать свою биографию». К несчастью, Михаил Афанасьевич осуществить это намерение не успел, и мы лишились бесценного источника. Для прояснения булгаковского облика остались только воспоминания друзей и знакомых, письма и, главное, его собственные произведения.

Булгаков не хотел, чтобы в его будущей биографии преобладал быт. Как известно, ни один великий человек не остается великим в глазах своего камердинера. Вовсе не собираемся сводить биографию к быту и мы. Вместе с тем надо помнить, что детали, мелочи быта часто говорят о человеке больше, чем многостраничные письма и воспоминания. И именно быт дает тот «сор», из которого вырастают литературные шедевры.

Мы постараемся заново прочесть биографию писателя с особым упором на наиболее сложные, загадочные, не до конца познанные моменты его судьбы.

Филология – наука принципиально неточная. В ней всегда чрезвычайно важен субъективный момент. Особенно это касается литературных параллелей и интертекстуальных связей. Одному исследователю какая-то параллель кажется вполне очевидной, а другому – абсолютно бредовой. Более или менее надежными параллели считаются тогда, когда выписки из данного источника обнаруживаются в архиве писателя, или имеются его собственные свидетельства о знакомстве с той или иной книгой. Или если на худой конец в текстах писателя обнаруживается скрытая цитата из той или иной книги или статьи. Но вместе с тем здравый смысл подсказывает, что не из всех прочитанных книг и журналов писатель делает выписки, не все понравившиеся ему газетные заметки сохраняет в домашнем архиве и далеко не обо всем прочитанном высказывается устно или письменно. Математически точных способов определения интертекстуальных параллелей не существует. Поэтому здесь вступают в игру эрудиция и интуиция исследователя и возникающие у него ассоциации и аллюзии. А они у разных филологов оказываются разными. Кроме того, каждый писатель в своей жизни обычно прочел не одну тысячу книг и не один десяток тысяч статей. Даже если бы каким-то чудом удалось установить, например, все тысячи и десятки тысяч только литературных источников, которые Булгаков использовал при создании «Мастера и Маргариты», то никаких возможностей человеческого мышления не хватит для того, чтобы сопоставить все эти источники друг с другом и с текстом великого романа. Здесь научные возможности филологии кончаются, и она превращается в своего рода художественную прозу, с более или менее свободными ассоциациями и полетом фантазии. Конечно, кое-какие ограничения сохраняются, например, в связи с датой создания и публикации сравниваемых произведений, или событий, если речь идет о реальных источниках и прототипах, однако принципиальную неопределенность относительно основной массы источников эти ограничения не отменяют.

В своей книге, которая отнюдь не является строго академическим исследованием, я называю прототипами любых литературных или реальных персонажей, которые так или иначе,

пусть даже своими мельчайшими чертами или свойствами, отразились в булгаковских образах. Многие литературоведы называют прототипами только тех персонажей, которые имеют существенное значение для понимания данного образа и писательского образа. Однако тут мы опять имеем дело с субъективным моментом – что считать значимым, а что – нет.

Пожалуй, наибольшие споры вызывает вопрос о политических деятелях, вроде Сталина, Ленина, Бухарина, Троцкого и других в качестве возможных прототипов булгаковских героев. Это объясняется, в частности, тем, что сегодня различные политические и идеологические партии и течения хотят приспособить булгаковское творчество к своим установкам, использовать его для достижения собственных целей в качестве сильного пропагандистского оружия. Интерес Булгакова к политике хорошо известен. Он отчетливо прослеживается, в частности, по его дневниковым записям 1923–1925 годов. Поэтому в «Белой гвардии», «Роковых яйцах», «Собачем сердце», «Мастере и Маргарите», «Беге», «Днях Турбиных» и других произведениях, в том числе и в биографии и пьесе о «Мольере», столь далеких, казалось бы, от современной эпохи, вполне закономерно искать политический смысл и соответствующие прототипы и прообразы, хотя сам Булгаков, разумеется, публично всегда отрицал, что его произведения имеют политическое значение. Поступать иначе в тоталитарном обществе было нельзя. Недаром Булгаков вполне заслуженно считался единственным политическим сатириком в советской литературе 20–30-х годов XX века. Поэтому вполне оправданным и логичным выглядит поиск политического подтекста и аллюзий в булгаковском творчестве, что, разумеется, не отменяет его более широкий философский контекст, внимание писателя к «вечным» проблемам.

Можно сказать, что всю свою жизнь Булгаков шел к своей главной вещи – «Мастеру и Маргарите», с которой он и вошел в мировую литературу. Все другие произведения, не исключая и московские фельетоны 20-х годов, в той или иной степени послужили материалом для «закатного» романа. В нем нашли свое завершение все основные идеи и мотивы, развитые ранее в булгаковской прозе и драматургии.

Особый упор в нашей книге сделан на выявление реальных прототипов героев Булгакова, на литературные реминисценции в его произведениях, на обрисовку основ булгаковской философии и мировоззрения, наконец, на все таинственное, что в них имеется, на загадки разгаданные и неразгаданные.

Два слова скажем о языке Булгакова, именно благодаря которому все, написанное Мастером, читается с умопомрачительной легкостью. Одному начинающему автору он писал: «...Раз я читатель, то будьте добры, дорогие литераторы, подавайте так, чтобы я легко, без мигрени следил за мощным летом фантазии». К собственному творчеству Булгаков подходил с позиций потенциального читателя и писал просто и правильно, облекая «мощный лет фантазии» в формы, понятные всем – и рафинированному интеллигенту, и обыкновенному рабочему, вроде тех, чьи не слишком грамотные корреспонденции когда-то ему приходилось править в «Гудке».

Писателю скоро стала претить избыточная и вычурная, как он считал, метафоричность, столь характерная для советской литературы 20-х годов. Булгаковский язык обретает ту прозрачную простоту, к которой стремился еще Лев Толстой в последний период своего творчества. Булгаков, убежденный, что своих героев автор должен любить, чтобы затем их полюбил читатель, не допускал искусственной усложненности и чрезмерной цветистости языка как самоцели, которой должны были бы подчиняться развитие фабулы и характеры персонажей. Поэтому булгаковская проза читается с необычайной легкостью. Внимание читателей лишней раз не отвлекается от мастерски сделанного сюжета необходимостью осмысливать сложные метафорические обороты и бесконечные повествовательные периоды. В пьесах же речь персонажей по своему строю оказывается очень близка к реальной разговорной, будучи разделенной на не очень длинные фразы, она мало отступает от литературной нормы и легко воспринимается



ется зрителями, позволяя без труда следить за развитием действия. Для Булгакова было чрезвычайно важным идейное содержание произведения. Язык должен был помогать восприятию, не концентрируя на себе специально читательское внимание.

Писатель не стремится к абсолютной гладкости речи, понимая, что некоторая художественно дозированная «неправильность» языка по сравнению как с нормой, так и с живой разговорной практикой необходима для должного эстетического воздействия на читателя. В частности, Булгаков вводил в свою прозу ритм, следуя традиции А. Белого, например, в ставшем хрестоматийном описании Пилата. Он также использовал непривычную транскрипцию знакомых слов – например, «Ершалаим», «кентурион», «Вар-Равван» в евангельских главах «Мастера и Маргариты». В московской же части романа со строгим чувством меры употреблены просторечные слова для характеристики персонажей типа Коровьева, который конференсье Бенгальского величает замечательным словом «надоедала». А фамилия администратора Варенухи означает вареную водку с пряностями и может быть понята как намек на склонность Ивана Савельевича к выпивке, подобно его шефу Лиходееву. В то же время Булгаков силой поэтического воображения сотворил высоким стилем историю Пилата и Иешуа, утвердив в нашем сознании не только эпически стройную и психологически достоверную версию евангельских событий, но и представление об эстетическом эталоне русской прозы.

Приношу свою искреннюю благодарность за советы и консультации, а также помощь в доступе к архивным материалам в процессе подготовки книги ныне покойным Н.А. Грозновой, П.Н. Кнышевскому, В.Я. Лакшину, В.И. Лосеву, Б.С. Мягкову, а также П.В. Палиевскому, А.М. Смелянскому и В.Г. Сорокину. Особая благодарность – моей жене Люде, без которой эта книга не могла бы состояться.

## **Глава 1. «Разговора про литературу тогда никакого не было» Детство и юность 1891-1916**

Михаил Афанасьевич Булгаков родился 3(15) мая 1891 года в Киеве (до 19 января (1 февраля) 1918 года все даты, относящиеся к биографии Булгакова, приводятся по старому стилю (юлианскому календарю)). Об этом сохранилась запись в метрической книге Киево-Подольской Кресто-Воздвиженской церкви: «Тысяча восемьсот девяносто первого года родился мая третьего, а крещен восемнадцатого числа Михаил. Родители: доцент Киевской духовной академии Афанасий Иванович Булгаков и законная жена его Варвара Михайловна, оба православного вероисповедания». Крестил Михаила 18 мая священник Матвей Бутовский.

Отец будущего писателя родился 17 апреля 1859 года в семье сельского священника Орловской губернии Ивана Авраамьевича Булгакова, жена которого Олимпиада Ферапонтовна вместе с ординарным профессором Киевской духовной академии Николаем Ивановичем Петровым стали крестными Михаила. Иван Авраамьевич служил в селе Бойтичи Жирятинского уезда Брянской губернии, позднее – в селе Подоланы Орловского уезда и Сергиевской кладбищенской церкви в Орле.

Фамилия «Булгаков» происходит от тюркского существительного «булгак» – производного от глагола «булга». Глагол имеет значения «махать», «перемешивать», «взбалтывать», «мутить», «качаться», «биться». «Булгак» же означает «смятение», «гордо ходящий человек, поворачивающий голову в разные стороны», или просто «гордый», «гордец».

Афанасий Булгаков окончил в 1881 году Орловскую духовную семинарию и, как один из наиболее выдающихся ее выпускников, был официально «предназначен» для поступления в Киевскую духовную академию, которую он окончил в 1885 году. Два года преподавал греческий в Новочеркасском духовном училище. В 1886 году опубликовал в Киеве «Очерки истории методизма» и в следующем году был удостоен за это сочинение степени магистра богословия, определен в академию доцентом по кафедре общей гражданской истории, а с начала 1889 года переведен на кафедру истории и разбора западных исповеданий. 1 июля 1890 года Афанасий Иванович женился на учительнице женской прогимназии города Карачева Варваре Михайловне Покровской. Она родилась 5 сентября 1869 года в семье протоиерея карачевской Казанской церкви Михаила Васильевича Покровского. Ее мать, Анфиса Ивановна, в девичестве носила фамилию Турбина, данную впоследствии Булгаковым автобиографическим персонажам романа «Белая гвардия». Через год после рождения Михаила, в начале мая 1892 года, Покровские писали Булгаковым: «Прелюбезнейшие наши дети, Афанасий Иванович и Варичка, а также и милейший наш внучоночек, многолетствуйте!

Письмо с карточкою Мишутки мы получили, вдоволь им налюбовались. Внучоночек настолько хорош, что мы цены ему представить не можем. Ты, Варичка, пишешь, чтобы откровенно написать, не стесните ли Вы нас своим приездом и не беспокоите ли собственно меня?

Да разве дети могут причинить родителям беспокойство, особенно тем, которые всегда дышат на детей своих всецелою отеческою любовью; больше радости и довольства Вы ничего нам не доставите своим приездом; посему все Ваши мысли отложите в сторону; и как только надумается и представится возможность к отъезду, приезжайте, ничто не сумнясь и ничим еще не стеснясь. Афанасию Ивановичу наш искренний привет и поздравление с чином Коллежского Советника. В ожидании Вашего к нам приезда остаемся родители Ваши: Михаил и Анфиса Покровские».

И первое в своей жизни путешествие Михаил совершил к родне в Карачев. Тогда этот город был в Орловской губернии, а сейчас – в Брянской области.

Позднее, 8 января 1912 года, сестра Булгакова Надя записала в дневнике настоящий гимн во славу Покровских: «Покровское» – то дорогое и родное, особый милый отпечаток, который лежит, несомненно, на всей маминой семье. Безусловно, что-то выдающееся есть во всех Покровских, начиная с бесконечно доброй и умной, такой простой и благородной бабушки Анфисы Ивановны... Какая-то редкая общительность, сердечность, простота, доброта, идейность и несомненная талантливость – вот качества покровского дома, разветвившегося из Карачева по всем концам России, от Москвы до Киева и Варшавы... Любовь к родным преданиям и воспоминаниям детства... связь между всеми родственниками – отпрысками этого дома, сердечная глубокая связь, какой нет в доме Булгаковых. Жизнерадостность и свет».

В семье Покровских было девять детей, а в семье И.А. Булгакова – десять. Афанасия Ивановича и Варвару Михайловну детьми Бог тоже не обидел. У Михаила было шесть братьев и сестер: Вера (1892), Надежда (1893), Варвара (1895), Николай (1898), Иван (1900) и Елена (1902).

Будущий писатель появился на свет в доме № 28 по Воздвиженской улице, принадлежавшем крестившему Михаила священнику Кресто-Воздвиженской церкви Матвеем Бутовскому (сейчас это дом № 10). Семья меняла квартиры почти ежегодно, стремясь найти жилье подешевле. Так, с 1895 по 1905 год Булгаковы снимали квартиру в доме № 10 по Кудрявской улице. Интересно, что раньше здесь жила семья Владимира Ильича Ульянова-Ленина – его мать Мария Александровна и сестры Анна Ильинична и Мария Ильинична. А с 1904 года родители Михаила поселились на Ильинской улице, 5/8, в угол с Волошской, занимая квартиру в доме Духовной академии. Варвара Михайловна оставила работу учительницы, и Афанасий Иванович вынужден был искать дополнительный заработок для содержания все увеличивающейся семьи. В 1890–1892 годах он преподавал историю в Киевском институте благородных девиц, а с октября 1893 года получил также должность Киевского отдельного цензора по внутренней цензуре. Пригодилось знание европейских языков: цензурировал поступающую в Киев иностранную литературу. Карьера в Киевской духовной академии развивалась успешно: в 1896 году он стал статским советником.

В 1900 году Булгаковы приобрели дачу под Киевом. Надежда Афанасьевна Булгакова впоследствии вспоминала: «Родители купили участок в поселке Буча в 30 километрах от Киева – две десятины леса, парк, можно сказать. И на этом участке под наблюдением отца была выстроена дача в пять комнат и две большие веранды... Дача дала нам простор, прежде всего простор, зелень, природу. Отец (он был хорошим семьянином) старался дать жене и детям полноценный летний отдых... На даче было прекрасно, лучше, чем в городе, где к тому же были докучливые соседи». Надежда Афанасьевна свидетельствовала: «Роскошь была в природе. Роскошь была в цветнике, который развела мать, очень любившая цветы... Цветник. Много зелени. Каштаны, посаженные руками самой матери. И дети выросли на свободе, на просторе, пользуясь всеми радостями природы».

Надежда Афанасьевна подчеркивала трудолюбие отца: «...он очень много писал, он очень много работал. Много времени проводил в своем кабинете... Он уезжал в Киев с дачи на экзамены. А с экзамена он приезжал, снимал сюртук, надевал простую русскую рубаху-косоворотку и шел расчищать участок под сад или огород. Вместе с дворником они корчевали деревья, и уже один, без дворника, отец прокладывал на участке... дорожки, а братья помогали убирать снятый дерн, песок...» Вот как передает Надежда Афанасьевна атмосферу дачной жизни: «Цветник. Много зелени. Каштаны, посаженные руками самой матери. И дети выросли на свободе, на просторе, пользуясь всеми возможными радостями природы. В первый же год жизни в Буче отец сказал матери: «Знаешь, Варечка, а если ребята будут бегать босиком?» Мама дала свое полное согласие, а мы с восторгом разулись и начали бегать по дорожкам, по улице и даже по лесу. Старались только не наступать на сосновые шишки, потому что это неприятно. И это вызвало большое удивление у соседей. Особенно поджимали губы соседки:

«Ах! Профессорские дети, а босиком бегают!» Няня сказала об этом матери. Мать только расмеялась». Детям такой демократизм явно пришелся по душе.

Варвара Михайловна, как и отец, прививала детям трудолюбие и стремление к знаниям. Но медицинское образование, полученное по настоянию матери, довольно скоро стало для Булгакова обузой, и само его наличие пришлось скрывать.

В 1906 году Булгаковы сняли дом № 13 на Андреевском спуске, на долгие годы ставший их пристанищем и известный миллионам читателей как «Дом Турбиных». Сейчас там находится Киевский музей Михаила Булгакова. Этот дом много лет спустя, уже в 1965 году, когда Булгаков вновь стал входить во славу, и в самый канун публикации «Мастера и Маргариты», отыскал писатель киевлянин Виктор Некрасов, архитектор по первой профессии. Он так вспоминал о своих впечатлениях от исторического здания: «Андреевский спуск – лучшая улица Киева... Крутая, извилистая, булыжная. Новых домов нет. Один только. А так – одно-двухэтажные... Так он и останется со своими заросшими оврагами, садами, буераками, с теряющимися в них деревянными лестницами, с прилепившимися к откосам оврагов домиками, голубятнями, верандами, с вьющимися граммофончиками, именуемыми здесь «кручеными панычами», с развешанными простынями и одеялами, с собаками, с петухами... И вот мы стоим перед этим самым домом № 13 по Андреевскому спуску. Ничем не примечательный двухэтажный дом. С балконом, забором, двориком, «тем самым», с щелью между двумя дворами, в которую Николай Турбин прятал свои сокровища. Было и дерево, большое, ветвистое, зачем-то спилили, кому-то оно мешало, затемняло».

А в очерке, написанном вскоре после первого посещения «Дома Турбиных» (очерк так и назывался), Виктор Платонович описал, как он его нашел. В романе дан совершенно точный его портрет. «Над двухэтажным домом № 13, постройки изумительной (на улицу квартала Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик – в первом), в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе – и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже (на улицу – первый, во двор под верандой Турбиных – подвальный) засветился слабенькими желтенькими огнями... Василий Иванович Лисович, а в верхнем – сильно и весело загорелись турбинские окна».

Ничто с тех пор не изменилось. И дом, и дворик, и сарайчики, и веранда, и лестница под верандой, ведущая в квартиру Василисы (Вас. Лис.) – Василия Ивановича Лисовича, – на улицу первый этаж, во двор – подвал. Вот только сад исчез – одни сарайчики.

Первый мой визит, повторяю, был краток. Я был с матерью и приятелем, приехали мы на его машине, и времени у нас было в обрез. Войдя во двор, я робко позвонил в левую из двух ведущих на веранду дверей и у открывшей ее немолодой дамы-блондинки спросил, не жили ли здесь когда-нибудь люди по фамилии Турбины. Или Булгаковы.

Дама несколько удивленно посмотрела на меня и сказала, что да, жили, очень давно, вот именно здесь, а почему меня это интересует? Я сказал, что Булгаков – знаменитый русский писатель и что все, связанное с ним...

На лице дамы выразилось еще большее изумление.

– Как? Мишка Булгаков – знаменитый писатель? Этот бездарный венеролог – знаменитый русский писатель?

Тогда я обомлел, впоследствии же понял, что даму поразило не то, что бездарный венеролог стал писателем (это она знала), а то, что стал знаменитым...

Потом, в «Белой гвардии», Булгаков с ностальгической любовью описывал такой уютный мир родного дома, безвозвратно потонувший в революцию: «Много лет... в доме № 13 по Алексеевскому спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой

площади «Саардамский Плотник», часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях».

А Виктору Некрасову соседи Булгакова рассказывали о профессорском семействе: «Очень они были веселые и шумные. И всегда уйма народу. Пели, пили, говорили всегда разом, стараясь друг друга перекричать... Самой веселой была вторая Мишина сестра. Старшая посерьезнее, поспокойнее, замужем была за офицером. Фамилия его что-то вроде Краубе (на самом деле Л.С. Карум. – Б.С.) – немец по происхождению. – (Так, поняли мы, – Тальберг...) – Их потом выслали, и обоих уже нет в живых. А вторая сестра – Варя – была на редкость веселой: хорошо пела, играла на гитаре... А когда подымался слишком уже невообразимый шум, влезала на стул и писала на печке: «Тихо!»

Как хорошо помнят читатели, в романе Турбины тоже очень любили оставлять на печке актуальные политические комментарии в шутливой форме. И еще семейство домовладельца инженера В.П. Листовниченко, выведенного в «Белой гвардии» в образе «несимпатичного» Василисы, нарисовало такой портрет Михаила Булгакова: «Миша был высокий, светлоглазый, блондин. Все время откидывал волосы назад. Вот так – головой. И очень быстро ходил. Нет, дружить не дружили, он был значительно старше, лет на двенадцать (речь идет о дочери Листовниченко Инне. – Б.С.). Дружила с самой младшей сестрой Лелей. Но Мишу помнит хорошо, очень хорошо. И характер его – насмешливый, ироничный, язвительный. Не легкий, в общем. Однажды даже отца ее обидел. И совершенно незаслуженно». Действительно, Булгаков из всех сестер больше всех любил младшую – Елену (Лелю). По свидетельству Т.Н. Лаппа, «Леля из всех сестер самая хорошенькая была. Когда мы с Михаилом обвенчались, она еще маленькая была, играла во дворе с дочкой Листовниченко...»

У Булгакова и в самом деле было немало конфликтов с домовладельцем и в юности, и в более зрелом возрасте, и в «Белой гвардии» он отыгрался на этом образе на славу. Что ж, наверное, хороших домовладельцев не бывает, особенно если он сам занимает квартиру в том же доме, только на первом этаже. Булгаковы, жившие на втором этаже, один раз даже залили семейство Листовничей, что, понятно, восторга не вызвало и привело к неприятному выяснению отношений. О том, что отношения с семьей домовладельца были плохие, вспоминала и первая жена Булгакова Татьяна Николаевна Лаппа: «Они Булгакова терпеть не могли и даже побаивались. Говорили про него: «Неудавшийся доктор». Все время жаловались: «Нет покоя от вас...» Естественно, семье Василия Павловича не понравилось, как он был изображен в «Белой гвардии», тем более, что судьба прототипа «Василисы» была трагична. В.П. Листовничей то ли погиб при попытке бежать с баржи, на которой большевики, отступая из Киева в конце августа 1919 года, эвакуировали заложников, то ли благополучно сумел добраться до берега Припяти, а потом и до Константинополя, где просил одного общего знакомого передать семье, чтобы она не пыталась его найти. В любом случае, жена и дочь о его судьбе ничего достоверно не знали и больше никогда не видели.

Впрочем, грозы над «Домом Турбиных» проносились и в мирные довоенные и дореволюционные годы. Осенью 1906 года смертельно заболел отец – у него обнаружился нефросклероз. Коллеги Афанасия Ивановича в беде его не оставили. Уже 11 декабря 1906 года он был удостоен степени доктора богословия. Одновременно совет Академии возбудил ходатайство перед Священным Синодом о присвоении ему звания ординарного профессора, которое было удовлетворено 8 февраля 1907 года. На следующий день А.И. Булгаков подал прошение об увольнении со службы по болезни, а 14 марта скончался. Дочь Надя так запомнила смерть отца и его похороны: «Когда отец умер, мне было 13 лет. Мне казалось, что мы, дети, плохо его знали. Ну что же, он был профессором, он очень много писал, он очень много работал. Много времени проводил в своем кабинете. И тем не менее... оглядываясь на прошлое, я должна сказать: только сейчас я поняла, что такое был наш отец. Это был очень интересный человек,

интересный и высоких нравственных качеств... Над его гробом один из студентов, его учеников, сказал: «Ваш симпатичный, честный и высоконравственный облик».

Семье была назначена пенсия в 3000 рублей в год. Будучи доцентом, Афанасий Иванович получал 1200 рублей и столько же в должности цензора. После смерти отца положение Булгаковых в материальном отношении даже улучшилось, что, конечно, не могло и в малой степени облегчить боль утраты.

Горько сознавать, что лишь смерть кормильца позволила семье без особого напряжения сводить концы с концами. Разумеется, Булгаковы не бедствовали, но и к числу людей богатых отнести их было нельзя. Вся недвижимость состояла из дачного участка в Буче, существенных сбережений не было, прислуживала семье только одна горничная, а в наемной квартире из семи комнат проживало более десяти человек. Обычное интеллигентное семейство.

Каким же человеком был отец и какое влияние он мог оказать на будущего писателя? Профессор Булгаков за 20 лет службы в Академии не имел размолвок ни со студентами, ни с коллегами-преподавателями. В некрологе профессор В.П. Рыбинский писал: «Когда в Киеве несколько лет тому назад образовался кружок духовных и светских лиц, имевший целью обсуждение церковных вопросов и уяснение основ назревшей церковной реформы, Афанасий Иванович был одним из усерднейших членов этого кружка и принимал самое горячее участие в спорах». При этом «почивший профессор был очень далек от того поверхностного либерализма, который с легкостью все критикует и отрицает; но в то же время он был противником и того неумеренного консерватизма, который не умеет различить между вечным и временным, между буквой и духом и ведет к косности церковной жизни и церковных форм». В надгробной речи близкий друг Афанасия Ивановича Д.И. Богдасhevский вспомнил беседу с ним незадолго до смерти: «Беседовали мы с тобою о разных явлениях современной жизни. Взор твой был такой ясный, спокойный и в то же время такой глубокий, как бы испытующий. «Как хорошо было бы, – говорил ты, – если бы все было мирно! Как хорошо было бы!.. Нужно всячески содействовать миру». И ныне Господь послал тебе полный мир... «Отпусти», – вот последнее твое предсмертное слово своей горячо любящей тебя и горячо любимой тобой супруге. «Отпусти!..» И ты отошел с миром! Ты мог сказать: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром (Лук. II, 29)».

В этих словах можно усмотреть и один из многих источников награды, дарованной булгаковскому Мастеру. В «Белой гвардии» схожие слова произносит перед смертью мать Турбиных: «Дружно... живите». А в финале «Мастера и Маргариты» «кто-то отпускал на свободу Мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя» – прощенного в ночь на воскресенье жестокого пятого прокуратора Иудеи всадника Понтия Пилата.

Воззрения Булгакова-старшего были близки идеям христианского социализма, высказывавшимся философом, публицистом и общественным деятелем С.Н. Булгаковым, с которым Афанасий Булгаков был знаком по созданному в марте 1905 г. Религиозно-философскому обществу памяти В.С. Соловьева. В деятельности этого общества, основанного С.Н. Булгаковым, Афанасий Иванович принимал активное участие вплоть до своей смертельной болезни. Его мысль о том, что Царство Божие не может носить земного, материального характера, представляла собой критику марксизма с его земным коммунистическим раем и была близка идеям С.Н. Булгакова и Н.А. Бердяева. Булгаков в «Мастере и Маргарите» идеальное царство истины и справедливости, о котором говорит Иешуа Га-Ноцри и которое достижимо лишь в надмирности, сравнивает с карикатурным осуществлением коммунистического идеала в современной ему Москве на примере обитателей «нехорошей квартиры», Дома Грибоедова и Театра Варьете.

Под «истинно-христианским смыслом» равенства, братства и свободы Афанасий Иванович подразумевал следующее место из Евангелия от Матфея: «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинаящих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за

обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари (сборщики податей)? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Мф. V, 44–48). Эти слова, возможно, не без влияния статьи отца, стали для Булгакова источником проповеди Иешуа Га-Ноцри о том, что злых людей нет на свете и что все люди добрые, включая избивающего его Марка Крысобоя и предателя Иуду из Кириафа. Евангелист стал персонажем «Мастера и Маргариты» под именем Левия Матвея. Этот герой, однако, уподоблен мытарю из проповеди Христа (его прежняя профессия сборщика податей в романе подчеркивается). Матвей сохраняет ненависть к Иуде и лишь смягчается по отношению к Понтию Пилату, когда узнает, что прокуратор организовал убийство корыстолюбивого юноши из Кириафа. Булгаковский евангелист питает любовь только к любящему его Иешуа. В «Мастере и Маргарите» показано, что учение Иисуса Христа неизбежно будет толковаться мытарями и может стать источником не любви, а ненависти.

Мысли для преподавателя духовной академии в России начала XX века достаточно либеральные, даже если сделать поправку на начавшуюся революцию. Афанасий Иванович, конечно, не одобрял якобинства и идеи французской революции поддерживал лишь до того предела, пока они служили укреплению прав человека и торжеству закона. В его же критике высшего французского духовенства кануна революции видна едва завуалированная критика высших иерархов православной церкви, фактически ставших синодальными чиновниками, что не могло не сказаться на крепости веры у многих подданных империи. Негибкость власти и церкви, как бы предупреждал А. И. Булгаков на французском примере, ведет, в конечном счете, к торжеству революционных идей, которым Афанасий Иванович совсем не симпатизировал. Скорее всего, Михаил, которому в момент смерти отца шел уже шестнадцатый год, был знаком с его мыслями (может быть, даже читал его книги) и, возможно, во многом их разделял.

По воспоминаниям Н.А. Булгаковой, «мать – жизнерадостная и очень веселая женщина. Хохотунья. И вот в этой обстановке начинает расти смысленный, очень способный мальчик... Интересно, что произошло после смерти отца. Наша мать славилась среди родных и знакомых... как великолепная воспитательница. И вот один из братьев отца (Петр Иванович Булгаков, священник русской посольской церкви в Токио. – Б.С.), служивший в Японии, привез матери своих двоих сыновей и попросил взять их в нашу семью, потому что хотел дать своим сыновьям русское образование. Там не было полных русских гимназий. И вот появились у нас в семье два «японца» – так мы их называли: Коля и Костя. Костя – старший, Коля – младший. А через год, очень скоро после японцев, приехала уже с запада (из г. Холм Люблинской губернии) сестра, тоже Булгакова, двоюродная (Илларию (Лилю) Михайловна Булгакова (1891–1982). – Б.С.). Приехала в Киев на Киевские женские курсы. Она кончила гимназию раньше, чем я. И таким образом у вдовы-матери оказалось в семье десять человек детей. И мама с ними справлялась. Маме тогда, когда отец умер, шел 37-й год.

И вот эта женщина сумела нас сплотить, вырастить и дать нам всем образование. Это была ее основная идея. Она говорила нам потом, когда мы уже стали взрослыми: «Я хочу вам всем дать настоящее образование. Я не могу вам дать приданое или капитал. Но я могу вам дать единственный капитал, который у вас будет, – это образование». И действительно. Она дала нам всем образование. А вторая ее идея, превосходная идея, была: нельзя допустить, чтобы дети бездельничали. И мама давала нам работу. Мы и сами работали, даже летом. Например, моя обязанность была заниматься до обеда с младшими братьями. А обязанность братьев была сначала помогать отцу в расчистке дорожек, а затем убирать мусор с участка. Братья собирали песок, дерн, листья. И вот Михаил в 15-м году... пишет стихотворение:

Утро. Мама в спальне дремлет.  
Солнце красное взойдет,  
Мама встанет и тотчас же  
Всем работу раздает:  
«Ты иди песок сыпь в ямы,  
Ты ж из ям песок таскай».

Миша, конечно, смеется. Причем мать сама весело смеялась в таких случаях. И у нас эти слова, когда речь заходила о работе, стали крылатыми словами, как и очень многие Мишины слова...

Мать была, конечно, незаурядная женщина, очень способная. Вот сказки. Она рассказывала нам сказки, которые всегда сама сочиняла. Она вела нас твердой и умной рукой. Была требовательна. Мать не стесняла нашей свободы, доверяла нам. И мы со своей стороны были с нею очень откровенны. У нас не было того, что бывает в других семьях, – недоверия. Были товарищи братьев, были поклонники у нас. Меня спрашивали:

– Надя, вам надо писать до востребования?

Я говорю:

– Зачем? Пишите, если вы хотите мне писать, на нашу квартиру.

– Как? А мама?

– А что мама? Мама наших писем не читает.

И это правильно. Это было, подумайте, когда. В начале XX века. Мама наших писем не читала. А мы ей сами читали, если нам хотелось ей что-нибудь рассказать».

Вместе с тем Варвара Михайловна явно была натурой властной и сильной. К тому же ей пришлось в одиночку поднимать семерых детей. Похоже, со старшим сыном конфликты у нее возникали не раз, и не только по поводу женитьбы. Очевидно, Михаил тоже с ранних лет стремился к самоутверждению. С годами, особенно после пережитых Россией катаклизмов, как мы увидим дальше, Булгаков нередко терял веру в свои силы: он ощущал себя слабым, больным и неспособным сопротивляться обстоятельствам. Но на заре беспечальной юности казалось, что все по плечу, а наставления матери воспринимались как придирки, ограничение самостоятельности. Столкновения двух сильных натур были неизбежны. Несомненно, конфликты доставляли немало неприятных минут и Варваре Михайловне, и Михаилу. Но они не разрушали общей атмосферы в семье, атмосферы любви друг к другу, к природе, музыке, книгам, веселым домашним вечеринкам и спектаклям.

18 августа 1900 года Михаил был зачислен в подготовительный класс Второй гимназии, который закончил «с наградой второй степени». А 22 августа 1901 года его приняли в первый класс знаменитой Первой Александровской гимназии. Булгаков так запечатлел ее в «Белой гвардии»: «Стовосьмидесятиоконным, четырехэтажным громадным покоем окаймляла плац родная Турбину гимназия. Восемь лет провел Турбин в ней, в течение восьми лет в весенние перемены он бегал по этому плацу, а зимами, когда классы были полны душной пыли и лежал на плацу холодный влажный снег зимнего учебного года, видел плац из окна... По бесконечному коридору и во второй этаж в упор на гигантский, залитый светом через стеклянный купол вестибюль шла гусеница... На кровном аргамаке, крытом царским вальтрапом с вензелями, поднимая аргамака на дыбы, сияя улыбкой, в треуголке, заломленной с поля, с белым султаном, лысоватый и сверкающий Александр вылетал перед артиллеристами. Посылая им улыбку за улыбкой, исполненные коварного шарма, Александр взмахивал палахом и острием его указывал юнкерам на Бородинские полки. Клубочками ядер одевались Бородинские поля, и черной тучей штыков покрывалась даль на двухсаженном пространстве».

По точному определению известного советского историка международных отношений Николая Павловича Полетики (1896–1988), учившегося в Александровской гимназии в 1905–



1914 годах, «Киевская первая гимназия была консервативной, но не реакционной». В мемуарах, написанных в эмиграции в Израиле, он писал: «Во главе нашей гимназии, как и других казенных гимназий, стояли, как правило, монархисты (директор, инспектор), часть учителей тоже была монархически настроена. Но образование и, главное, воспитание в нашей гимназии, при соблюдении монархической внешности и форм, было либерально-оппозиционным, прогрессивным и свободомыслящим. Нас старались воспитать людьми. Уважение к человеческому достоинству выражалось даже в том, что к гимназистам приготовительного класса обращались на «вы», «ты» говорилось лишь в порядке близкого знакомства и дружеского расположения.

Официальное обращение к нам было – «господа гимназисты».

Император Александр I в 1811 году даровал Киевской гимназии, названной его именем, широкие права. Воспитанников готовили для поступления в университеты. Генерал П.С. Ванновский, ставший в 1901 году министром народного просвещения и выдвинувший лозунг «сердечного попечения о школе», стремился привлечь для работы в гимназиях университетских преподавателей. В Киеве для такого эксперимента была выбрана Александровская гимназия. Основные курсы в ней вели доценты и профессора местного университета и Политехнического института. Так, профессор Киевского, а в дальнейшем Московского университета, известный философ Г.И. Челпанов читал спецкурсы по философии, логике и психологии. После 1906 года его сменил доцент университета А.Б. Селиханович, который преподавал еще и литературу. За работу, содержащую сравнительный анализ философии Канта и Юма, Селиханович был удостоен университетской серебряной медали. Преподаватель он был требовательный, к гимназии подходил почти с теми же мерками, что и к студентам университета, и уже пятиклассникам задавал читать университетский учебник философии В. Виндельбанда. Лекции Селихановича наверняка запомнились Булгакову, ведь не случайно имя и отчество этого преподавателя – Александр Брониславович – писатель дал одному из героев «Белой гвардии» и «Дней Турбиных» капитану Студзинскому.

Учителем латинского языка в гимназии был чех А.О. Поспишил, издатель сочинений Платона и страстный пропагандист античной культуры. Русский язык и словесность до 1903 года преподавал крестный отец Михаила Н.И. Петров, много сделавший также и для изучения украинского языка и культуры. Его сменил украинец, доктор Венского университета Ю.А. Яворский, крупный ученый-фольклорист и коллекционер древних рукописей. Занятия по русской литературе вел филолог и историк М.И. Тростянский, специалист по столь любимому Булгаковым Гоголю. Отметим, что речь Тростянского на годичном акте гимназии 1909 года «Н.В. Гоголь и его смех сквозь слезы» имела большой успех и была повторена в качестве публичной лекции в городском театре. Инспектор же гимназии П.Н. Бодянский одновременно являлся секретарем киевского отделения Общества классической филологии и педагогики и автором нескольких книг по древней истории и истории Москвы.

Примечательной фигурой был и директор гимназии Е.А. Бессмертный, преподававший математику. В октябре 1905 года он смог уберечь своих питомцев от гнева начальства за забастовку, устроенную гимназистами в дни всероссийской политической стачки. Крупная забастовка гимназистов состоялась и 12 декабря 1905 года. Однако их участники почти не пострадали. Дело ограничилось лишением всех учащихся старших классов оценки по поведению за первое полугодие 1905/06 учебного года.

По словам Н. Полетики, «состав учеников представлял пеструю картину: дети местных дворян, помещиков и чиновников, занимавших довольно крупные, но не самые высокие посты в киевской администрации и суде; дети разночинцев – большей частью адвокатов, врачей, учителей и др. Он также подчеркнул, что «выпуски Гимназии периода 1910–1917 годов почти целиком сгорели в пламени Первой мировой и Гражданской войн. Из моего класса выпуска 1914 года, в котором было 32–33 ученика (второе отделение), к началу Второй мировой войны осталось в живых лишь четыре человека». Тут стоит добавить, что свою лепту в прорежение

выпускников Александровской гимназии внесли и советские репрессии межвоенного периода. Кроме того, часть выпускников эмигрировала, как и братья Михаила Булгакова Николай и Иван, а в конечном счете – и сам Н.П. Полетика. Так или иначе, уцелело трагически мало.

Писатель Константин Паустовский, учившийся вместе с Булгаковым, вспоминал: «Булгаков был старше меня, но я хорошо помню стремительную его живость, беспощадный язык, которого боялись все, и ощущение определенности и силы – оно чувствовалось в каждом его, даже незначительном слове. Почти всегда в первых рядах победителей был гимназист с задорным вздернутым носом – будущий писатель Михаил Булгаков. Он врезался в бой в самые опасные места. Победа носилась следом за ним и венчала его золотым венком из его собственных растрепанных волос. Оболтусы из первого отделения боялись Булгакова и пытались опорочить его. После боя они распускали слухи, что Булгаков дрался незаконным приемом – металлической пряжкой от пояса. Но никто не верил этой злой клевете, даже инспектор Бодянский...» Однако серьезных неприятностей все эти шалости Михаилу не принесли.

В гимназии у Булгаков появилось одно страстное увлечение. Как отмечала в письме К.Г. Паустовскому от 28 января 1962 года Н.А. Булгакова (Земская), «в старших классах гимназии Михаил Афанасьевич увлекся горячо, как он умел, новой игрой – футболом, тогда впервые появившимся в Киеве; а вслед за ним и младшие братья стали отчаянными футболистами. А мы, сестры и наши подруги, «болельщицами»...» И в том же письме Надежда Афанасьевна указала, что брат очень неплохо катался на коньках: «А зимой – каток. Гимназист Булгаков, в кругу зрителей, демонстрировал «пистолет» и «испанскую звезду».

Хотя Киев был провинциальным городом Российской империи, по уровню преподавания и составу преподавателей Александровская гимназия не уступала лучшим столичным учебным заведениям. Паустовский писал: «1-я Киевская гимназия... выделялась по составу своих преподавателей из серого списка остальных классических гимназий России» (вот насчет «серого» можно поспорить – назовем хотя бы блестящую Поливановскую гимназию в Москве).

8 июня 1909 года Михаил Булгаков получил аттестат зрелости. Высших оценок он удостоился по двум предметам – Закону Божьему и географии. Знание Библии пригодилось автору «Мастера и Маргариты». Хорошее же знание географии обычно предполагает интерес к дальним странам. Юноша-гимназист еще не мог предвидеть, что вскоре судьба будет бросать его с места на место, хотя за пределы Российской империи, а позднее СССР ему фактически не удастся выбраться никогда. Лишь летом 1916 года вместе с русской армией Булгакову довелось побывать в Черновицах – центре австрийской Буковины; точно так же как Пушкин в 1829 году единственный раз побывал за границей, вступив вместе с русскими войсками в турецкий Эрзрум.

Паустовский дал такой портрет Булгакова: «Булгаков был переполнен шутками, выдумками, мистификациями. Все это шло свободно, легко, возникало по любому поводу. В этом была удивительная щедрость, сила воображения, талант импровизатора. Но в этой особенности Булгакова не было между тем ничего, что отдаляло бы его от реальной жизни. Наоборот, слушая Булгакова, становилось ясным, что его блестящая выдумка, его свободная интерпретация действительности – это одно из проявлений все той же жизненной силы, все той же реальности. Существовал мир, и в этом мире существовало как одно из его звеньев – его творческое юношеское воображение».

По словам Паустовского, в рассказываемых Булгаковым историях «действительность так тесно переплеталась с выдумкой, что граница между ними начисто исчезала», а «изобразительная сила этих рассказов была так велика, что не только мы, гимназисты, в конце концов начинали в них верить, но верило в них и искушенное наше начальство». Отметим тут совпадение высказывания Паустовского с булгаковской характеристикой поэмы Ивана Бездомного: «Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича – изобразительная ли сила его таланта или полное незнакомство с вопросом, по которому он собирался писать, – но Иисус

в его изображении получился ну совершенно как живой, хотя и не привлекающий к себе персонаж». (В связи с этим встает вопрос, так ли уж был бездарен Бездомный, – не исключено, что Булгаков наградил-таки Ивана природным талантом, который, правда, сочетался в нем с недостатком знаний и нежеланием учиться.)

Похоже, что булгаковские представления об особенностях литературного творчества сформировались еще в гимназические годы и претерпели мало изменений впоследствии.

Вспоминая же столь любимые, хотя и запретные, прогулки на лодках по Днепру (может, запрет со стороны гимназического начальства и придавал им особую прелесть), Паустовский признавал: «Первое место на этих «вечерах на воде» принадлежало Булгакову. Он рассказывал нам необыкновенные истории». Если верить Константину Георгиевичу, будущий автор «Мастера и Маргариты» явно был душой гимназического общества.

Справедливости ради отметим, что сохранились и несколько иные воспоминания о Булгакове-гимназисте. Известный киевский врач-кардиолог Евгений Борисович Букреев вместе с Михаилом учился в подготовительном классе Второй гимназии, а потом и в Первой гимназии, но уже на разных отделениях. В 1980 году он так рассказывал о Булгакове: «В первых классах был шалун из шалунов. Потом – из заурядных гимназистов. Его формирование никак не было видно... Про него никто бы не мог сказать: «О, этот будет!...» – как, знаете ли, говорили в гимназиях про каких-то гимназистов, известных своими литературными или другими способностями. Он никаких особенных способностей не обнаруживал...»

Судя по аттестату, Булгаков учился далеко не блестяще. Здесь спорить не приходится. И часто шалил. Тут Букреев прав. Паустовский вспоминает, как характеризовало Булгакова гимназическое начальство: «Ядовитый имеете глаз и вредный язык, – с сокрушением говорил Булгакову инспектор Бодянский. – Прямо рветесь на скандал, хотя и выросли в почтенном профессорском семействе (Паустовский называет семью Булгаковых «насквозь интеллигентной семьей». – Б.С.). Это ж надо придумать! Ученик вверенной нашему директору гимназии обозвал этого самого директора Маслобоем! Неприличие какое! И срам! Глаза при этом у Бодянского смеялись». Однако относиться к мемуарам Букреева с полным доверием вряд ли возможно. Он не был близок с Булгаковым, учился с ним в разных классах и отличался от будущего писателя по политическим убеждениям (себя в ту пору Евгений Борисович числил анархистом, а Михаила считал, по его собственному выражению, «квасным монархистом», правда, без свойственного социальным низам или богатым помещикам черносотенного оттенка). В булгаковский круг общения мемуарист, очевидно, не входил, Булгакова – рассказчика и фантазера – почти не знал. Между тем о Булгакове как о чудесном сочинителе в гимназические годы вспоминает и его сестра Надежда: «Он был весел, он задавал тон шуткам, он писал сатирические стихи про ту же самую маму и про нас, давал нам всем стихотворные характеристики, рисовал карикатуры. Он был человек всесторонне одаренный: рисовал, играл на рояле, карикатуры сочинял». Из увлечений Булгакова того времени Надежда Афанасьевна выделяла футбол – игру, только начавшую в ту пору завоевывать популярность в России. Несомненно, что будущий писатель полнее всего раскрывался в кругу родных и друзей, а учеба в гимназии не была для него на первом месте.

Позднее, в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных» Булгаков перенес действие в здание Александровской гимназии. Именно там располагается артиллерийский дивизион, куда вступают добровольцами его герои. Как кажется, ни в каком артиллерийском дивизионе Булгаков никогда не служил, и в те декабрьские дни часть, куда он пошел добровольцем, не располагалась в Александровской гимназии. Но Михаилу Афанасьевичу очень нужно было перенести кульминацию действия своего любимого романа именно в это здание, с которым было связано столько светлых и забавных воспоминаний. Актер Марк Прудкин, игравший в «Днях Турбиных» Шервинского, вспоминал, как во время гастролей в Киеве Булгаков повел мхатовцев на экскурсию по городу, рассказав много интересного о памятных с детства местах. А в

здании гимназии разыграл целый спектакль: «Михаил Афанасьевич в момент, когда мы пришли в здание бывшей Александровской гимназии, где теперь помещается одно из городских учреждений. И вот, не смущаясь присутствием сотрудников этого учреждения, он сыграл нам почти всю сцену «В гимназии» из «Турбиных». Он играл и за Алексея Турбина, и за его брата Николку, и за петлюровцев».

В конце весны или в начале лета 1908 года окончивший седьмой класс гимназии Михаил познакомился с пятнадцатилетней Татьяной Николаевной Лаппа (родные и близкие звали ее Тасей), дочерью председателя Саратовской казенной палаты (это фактически вторая по значимости должность в губернской администрации – председатель казенной палаты управлял всеми губернскими финансами). Семья Лаппа была вполне интеллигентной и принадлежала к столбовым дворянам. Т.Н. Лаппа вспоминала: «Отец был высокообразованным человеком. В свое время он закончил два факультета Московского университета (естественное отделение физико-математического факультета и юридический факультет. – Б.С.). В нашем доме была хорошая библиотека, книги для нее подбирал сам отец... Все мы любили читать и часто устраивали домашние чтения». Николай Николаевич Лаппа не был чужд и искусству. По воспоминаниям дочери, «мать очень красивая была, и даже вот оглядывались и говорили, какая красивая женщина идет. А отец очень театром увлекался, даже играл в городском театре, Островского вещи – любовников... Ему даже предлагали там... он хотел артистом стать, а мать сказала: «Если пойдешь в театр, я уйду от тебя».

Тася приехала в Киев к тетке на каникулы. Ее тетка, Софья Николаевна Лаппа, работала во Фребелевском обществе содействия делу воспитания. Туда же после смерти мужа поступила мать Булгакова, и они подружились. Во время одного из визитов к Лаппа состоялось знакомство Михаила с будущей женой. Татьяна Николаевна вспоминала обстоятельства, которые привели к судьбоносной встрече: «...В 1908 году пришло от тети Сони письмо, что на это лето она не сможет приехать. У них своих детей не было, а меня она очень любила. Она просила: «Отпустите ко мне Тасю». Ну, отец спрашивает: «Хочешь ехать?» – «Поеду». И он меня отправил... Приехали на Большую Житомирскую, и вот там меня тетя Соня с Булгаковым и познакомила». А вот как Тася передала свои первые впечатления от Киева: «...Мой первый приезд в Киев. И хотя я была как-то подготовлена и литературой, и рассказами родных об этом древнем городе, но все, увиденное мною, превзошло мои ожидания. Уже подъезжая к железнодорожному мосту через Днепр, невозможно было оторвать взгляда от совершенно удивительной картины: на высоких, тонущих в густой зелени холмах сверкали в ярких лучах солнца золотые купола многочисленных церквей. Широкие, светлые улицы, тенистые сады и парки, строгие казенные здания, театры, древние храмы – покорили мое сердце. С тех пор я полюбила Киев, особенно в летнее время: Владимирскую горку, Купеческий сад с открытой эстрадой, где по вечерам звучала музыка Чайковского, Россини, Глинки...» Софья Николаевна попросила его [Булгакова] показать племяннице Киев. Много десятилетий спустя Татьяна Николаевна вспоминала эту и многие последующие прогулки с Булгаковым: «То было золотое время. Целыми днями, не замечая усталости, мы бродили по киевским улицам и паркам, ходили в Печерскую Лавру, посещали музеи. Куда только он меня не водил. Часто бывали на Владимирской горке, любимом месте Михаила. Отсюда открывалась захватывающая картина заднепровских далей, и было жутковато смотреть с отвесных круч вниз... А вечерами шли в Оперный театр слушать «Севильского цирюльника», «Кармен», «Аиду», «Фауста» или в Купеческий сад.

В Купеческий сад мы шли, как правило, пешком через Владимирскую горку. Мне кажется, что тогда мы не пропускали ни одного концерта. Михаил любил Чайковского, Бетховена, Шуберта. С большим удовольствием слушал он исполняемые оркестром фрагменты к популярным операм: увертюру к «Руслану и Людмиле», марш из «Аиды», антракты к «Кармен». Особенно любил «Фауста» и часто напевал любимые арии...» Кстати, интересно отметить такую деталь: по свидетельству Н.А. Земской, только в гимназические и студенческие

годы Булгаков слушал оперу Гуно «Фауст» 41 раз. Несомненно, именно эта опера сыграла в фаустианских мотивах «Мастера и Маргариты» не меньшую роль, чем гётевский оригинал, а Воланд даже внешне очень напоминает оперного Мефистофеля тех лет.

Между Михаилом и Тасей вспыхнула любовь. После окончания летних каникул девушка вернулась в Саратов, но обещала приехать вновь на Рождество. Однако ее отец, заподозрив, что у дочери в Киеве начался роман, и опасаясь дурного влияния сердечных дел на учебу, не отпустил Тасю на рождественские праздники в Киев. Родителя явно думали, что Тасе еще рано замуж. Вместо нее приехал брат Евгений. Дальше события развивались драматически. Т.Н. Лаппа (в третьем браке – Кисельгоф) рассказывала о них позднее: «Не прошло и двух дней после начала зимних каникул, как из Киева пришла телеграмма от Саши Гдешинского (Александр Петрович Гдешинский – один из ближайших киевских друзей Булгакова, ставший потом скрипачом. – Б.С.) примерно такого содержания: «Телеграфируйте обманом приезд Таси. Миша стреляется».

Мой отец эту телеграмму перехватил и отправил ее тете Соне в Киев с просьбой серьезно поговорить с Варварой Михайловной о поведении сына. Та, получив от брата известие, отправилась к матери Михаила». Инцидент был улажен, и надобность в Танином приезде в Киев отпала.

Между прочим, Т.Н. Лаппа вспоминала, как из-за нее Булгаков чуть не поссорился со своим лучшим другом А.П. Гдешинским: «Однажды Михаил с Сашей поссорились». Он подарил Гдешинскому ножик, и кто-то сказал: «Вы, вероятно, поссоритесь. И вот, как-то мы гуляли – я, Михаил и Сашка – и зашли в магазин какой-то. Там очень красивые гравюры были. Одна мне понравилась. Там голая женщина была изображена, но очень красивая, очень хорошо сложена. И я все любовалась, какая красивая картина. Сашка Гдешинский купил и преподнес мне. Михаил так обиделся! «Выбрось эту картину! Моей жене друг преподносит голую женщину!»... Я завернула ее и положила за шкаф. Ну, потом они помирились».

В следующий раз Татьяна приехала в Киев только летом 1911 года. Булгаков к тому времени уже стал студентом: 21 августа 1909 года его зачислили на медицинский факультет Императорского университета св. Владимира в Киеве. Чувства Михаила, связанные с этим событием, хорошо переданы в «Белой гвардии»: «...Вечный маяк впереди – университет, значит, жизнь свободная, – понимаете ли вы, что значит университет? Закаты на Днепре, воля, деньги, сила, слава... За восемью годами гимназии... трупы анатомического театра, белые палаты, стеклянное молчание операционных...» Во время второго киевского визита Таси в городе произошло трагическое событие, многими современниками и потомками оцененное как роковое для судьбы России: 1 сентября в Оперном театре во время представления оперы Римского-Корсакова «Русалка» бывшим агентом охранного отделения анархистом Д.Г. Богровым был смертельно ранен председатель Совета Министров П.А. Столыпин. Татьяна Николаевна так передает реакцию Булгакова на убийство Столыпина: «Он не одобрял. Огорчился очень». Но политикой тогда Михаил вряд ли еще всерьез интересовался.

Родители Булгакова, осознав, что молодые настроены серьезно, более не препятствовали их связи. Н.А. Булгакова, находясь в Буче, записала 27 июля 1911 года в дневнике: «Миша доволен: приехала Тася... и мама во избежание Мишиных поездок через день в Киев хочет пригласить Тасю гостить...» А затем в дневнике появилась следующая идиллическая запись: ««Буча. 31 июля 1911 г. Приехала к нам на эти последние летние дни Тася Лаппа: живет у нас с 29-го. Я ей рада. Она славная... Миша занимается к экзаменам и бабочек ловит, жуков собирает, ужей маринует».

Тася, которой 23 ноября 1911 года исполнилось 19 лет, послала заявление о приеме на историко-филологическое отделение киевских Высших женских курсов и была принята. На Рождество 1911 года Булгаков приехал в Саратов. Как вспоминала Татьяна Николаевна, в тот его приезд было весело: «Была елка, мы танцевали, но больше сидели, болтали...» Родители

Таси к тому времени уже смирились с неизбежным. Татьяна Николаевна вспоминала: «Отец работал, мать детьми занималась, мы в гимназию ходили... Отец добрый был. Но очень строгий. Если он что сказал – это уже все... Мать очень добрая была, все хлопотала по дому, с детьми... Но вот когда она со мной занималась, все время меня била...» Так что у Таси был весомый стимул вырваться из-под родительской опеки.

В августе 1912 года Михаил привез Тасю в Киев. Надежда Афанасьевна 20 августа записала в дневнике: «Миша вернулся – en deux (вдвоем – *фр.*) с Тасей; она поступает на курсы в Киеве. Как они оба подходят друг к другу по безалаберности натур! (в 1940 г. добавлено: «по стилю и вкусам». – Б.С.) Любят они друг друга очень, вернее – не знаю про Тасю, но Миша ее очень любит... (16 октября 1916 г. добавлено: «Теперь я бы написала наоборот». И пояснено в 1940 г.: «Мишин отъезд врачом в Никольское – Тася едет с ним». – Б.С.)... 16-го, когда я устраивала мальчиков в Киеве, я зашла в нашу квартиру за книгами и там наткнулась на эту картину: Мишин кабинет в беспорядке, сам он за книгами, Тася в большой шляпе. Платон и Саша (Гдешинские. – Б.С.)... У Миши экзамены – последний срок, или он летит из Университета: что-то будет, что-то будет?... Миша со мной много говорил в тот день (добавление 1940 г.: «Беспокойная он натура и беспокойная у него жизнь, которую он сам по своему характеру себе устраивает». – Б.С.). Изломала его жизнь, но доброта и ласковость, остроумие блестящее, когда его не раздражают, остаются его привлекательными чертами. Теперь он понимает свое положение, но скрывает свою тревогу, не хочет об этом говорить, гаерничает и напевает, аккомпанируя себе бравурно на пианино, веселые куплеты из оперетт... Хотя готовится, готовится... Грустно, в общем (добавление 1940 г.: «Экзамены в ту осень благополучно сдал». – Б.С.)».

Можно себе представить, каким ударом для семьи Булгаковых стало бы исключение старшего сына из университета. Однако Михаил вовремя взялся за ум. По воспоминаниям Татьяны Николаевны, «ходил на все лекции, не пропускал. В библиотеку ходил – в конце Крещатика, у Купеческого сада открылась новая общественная библиотека. Читальный зал очень хороший. Он эту библиотеку очень любил. Меня брал с собой, я читала какую-нибудь книжку, пока он занимался. Разговора про литературу тогда никакого не было. Он собирался быть врачом, и, я думаю, он бы хорошим был врачом». Незадолго до свадьбы Булгакова все-таки перевели на третий курс, и Варвара Михайловна в письме к дочери Наде 30 марта 1913 года высказывала пожелание, чтобы в записи о браке сын был назван третьекурсником. Но усердие в учебе принесло и дальнейшие плоды. На последних двух курсах Булгаков за успехи в науках был освобожден от платы за обучение. В феврале-марте 1916 года он держал экзамен в университетской медицинской испытательной комиссии и 6 апреля, «весьма удовлетворительно выдержав установленные испытания», был «утвержден в степени лекаря с отличием со всеми правами и преимуществами, законами Российской империи сей степени присвоенными». По 15 из 22 предметов Булгаков имел «пятерки».

Родители Таси уже смирились с неизбежностью брака дочери, но Варвара Михайловна все еще была против. Татьяна Николаевна вспоминала: «...Однажды я получаю записку от Варвары Михайловны: «Тася, зайдите, пожалуйста, ко мне». Ну, я пришла. Она говорит: «Тася, я хочу с вами поговорить. Вы собираетесь выходить замуж за Михаила? Я вам не советую... Как вы собираетесь жить? Это совсем не просто – семейная жизнь. Ему надо учиться... Я вам не советую этого делать...» – и так далее. Еще она просила меня не говорить Михаилу об этом разговоре... Ну, я ей ничего не сказала (о беременности – Тася была беременна, и Михаил еще до свадьбы помог ей сделать аборт, на оплату которого и пошли деньги, посланные родителями Таси на свадьбу. – Б.С.), а Михаилу все-таки рассказала, что Варвара Михайловна против. Он отвечает: «Ну, мало, что она не хочет, но все равно я должен жениться». И мы решили обвенчаться сразу после Пасхи».

Может быть, Варвару Михайловну останавливала не только забота об учебе старшего сына, но и сознание того, что брак будет не совсем равным: Лаппа были явно богаче Булгаковых.

Аборты, кстати сказать, в ту пору в Российской империи были уголовно наказуемым деянием. Однако на практике соответствующий закон применялся крайне редко. Так, в 1914 году в России было сделано примерно 400 тысяч абортов, но до суда дело дошло только в 20 случаях. Судьи учитывали, что аборт в то время был практически единственным способом избавиться от нежелательной беременности, альтернативой которому было гораздо более страшное преступление – детоубийство. Ведь более или менее надежные средства механической контрацепции появились только в 20-е годы XX века в связи с широким распространением вулканизированной резины, а потом – синтетического каучука для производства презервативов. Надежные же средства химической контрацепции стали доступны только в 1960-е годы.

Аборты нередко приводили к бесплодию. Можно предположить, что та же беда постигла и Татьяну Николаевну после второго аборта, который она сделала позднее, уже в Никольском (тогда Михаил страдал морфинизмом, и супруги боялись, что ребенок родится больным). Детей у нее не было.

Венчание состоялось 26 апреля 1913 года в Киево-Подольской Добро-Николаевской церкви. Обряд совершил друг семьи Булгаковых, о. Александр Глаголев. Поручителями выступили друзья Михаила: Борис Богданов и братья Гдешинские, Платон и Александр, а также его двоюродный брат Константин Петрович Булгаков.

Вероятно, тот разговор Таси с Варварой Михайловной запомнился Михаилу. Так же Воланд спрашивал воссоединившихся на балу у сатаны Мастера и Маргариту: «А чем же вы будете жить?»

События, связанные со свадьбой сына, В.М. Булгакова изложила в письмах дочери Наде (наверное, потом их содержание так или иначе стало известно и Булгакову). Они писались по горячим следам событий. «... Не в силах в письме изложить тебе всю эпопею, которую я пережила в эту зиму: Миша совершенно измочалил меня... В результате я должна предоставить ему самому пережить все последствия своего безумного шага: 26 апреля предполагается его свадьба. Дела стоят так, что все равно они повенчались бы, только со скандалом и разрывом с родными, так я решила устроить лучше все без скандала. Пошла к о. Александру Александровичу (можешь представить, как Миша с Тасей меня выпроваживали поскорее на этот визит!), поговорила с ним откровенно, и он сказал, что лучше, конечно, повенчать их, что «Бог устроит все к лучшему»... Если бы я могла надеяться на хороший результат этого брака; а то, к сожалению, никаких данных с обеих сторон к каким бы то ни было надеждам не вижу, и это меня приводит в ужас. Александр Александрович искренно сочувствовал мне, и мне стало легче после разговора с ним... Потом Миша был у него; он, конечно, старался обратить Мишино внимание на всю серьезность этого шага (а Мише его слова как с гуся вода!), призывал Божье благословение на это дело...» (30 марта 1913 года). «У меня еще хватило сил с честью проводить их к венцу и встретить с хлебом-солью и вообще не испортить семейного торжества. Свадьба вышла очень приличная. Приехала мать Таси, были бабушка, Сонечка, Катя с Ирочкой (тетки и двоюродная сестра Таси. – Б.С.), Иван Павлович (Воскресенский, врач, близкий друг семьи Булгаковых, а с мая 1918 года – муж Варвары Михайловны. – Б.С.), 2 брата Богдановых, 2 брата Гдешинских и Миша Книппович (это все близкие друзья Михаила)... и вся наша фамилия в торжественном виде. Встретили цветами и хлебом-солью, потом выпили шампанского (конечно, донского), читали телеграммы (которых с обеих сторон оказалось штук 15), а потом пошли пить чай. Я и молодые благодарим тебя и Колю (Николая Михайловича Покровского, брата Варвары Михайловны, врача, у которого обыкновенно останавливались все Булгаковы, будучи в Москве; послужил одним из прототипов профессора Преображенского в «Собачем сердце». – Б.С.) за телеграмму. А потом у меня поднялась температура до 39°, и я уж не помню,

как упала в постель, где пролежала 3 дня, а потом понемножку стала отходить» (2 мая 1913 года).

Если родители, особенно мать Михаила, этот брак переживали едва ли не как трагедию, то сами молодые, похоже, воспринимали происходящее достаточно спокойно. Во всяком случае Т.Н. Лаппа много лет спустя описывала свадьбу с Михаилом довольно сдержанно, без особых эмоций: «Мать Михаила велела нам говеть перед свадьбой. У Булгаковых последнюю неделю перед Пасхой всегда был пост, а мы с Михаилом ходили в ресторан... Фаты у меня, конечно, никакой не было, подвенечного платья тоже – я куда-то дела все деньги, которые отец прислал (сумма по тем временам была, кстати сказать, немалая – 100 рублей. – Б.С.). Мама приехала на венчанье – пришла в ужас. У меня была полотняная юбка в складку, мама купила блузку... Священник Александр Глаголев нас венчал. Мы все время хохотали. Все время смеялись... потом мы сели в карету и поехали на Андреевский спуск... Там мне преподнесли цветы, мы пообедали и пошли к себе домой на Рейтарскую...»

Т.Н. Лаппа так характеризовала А.А. Глаголева: «Отец Александр был исключительно добрым, мягким и образованным человеком. Он знал много языков, преподавал в академии церковную археологию и древнееврейский язык».

Тут стоит сделать небольшое отступление по поводу близкого друга семьи Булгаковых. Судьба Александра Александровича Глаголева, человека доброго и незаурядного, была трагичной, как и весь XX век для России. Протоиерей Александр Глаголев родился 14 февраля 1872 года в семье священника в Тульской губернии. Там же он окончил духовную семинарию, а потом – Киевскую духовную академию, где был профессором кафедры древнееврейского языка и библейской археологии и занимал должность ректора. Также он был цензором в Духовно-цензурном комитете, преподавал Закон Божий в Фундуклеевской женской гимназии и служил настоятелем церкви Святого Николы Доброго у подножия Андреевского спуска. В 1898 году получил степень кандидата богословия. В 1900 году 28-летний Александр Глаголев защитил в КДА магистерскую диссертацию «Ветхозаветное библейское учение об Ангелах» – выдающийся труд, который привлек внимание к молодому талантливому ученому. Глаголев был членом комиссии по научному изданию славянской Библии, принимал участие в издании Православной богословской энциклопедии. По просьбе А.П. Лопухина он написал комментарии на Третью и Четвертую книги Царств для «Толковой Библии», публиковался в различных журналах, особенно в «Трудах Киевской духовной академии». О. Александр знал около 18 классических и европейских языков.

Внучка праведника, Магдалина Алексеевна Глаголева-Пальян, вспоминая о дедушке, говорит: «Ему были присущи смирение и простота. Не та *sancta simplicitas*, о которой говорят в отношении детей или простаков, которые многого не понимают. А простота от мудрости. Мудрость и предельное незлобие – любовь к людям».

Отец Александр Глаголев выступил свидетелем защиты в известном процессе по делу Менделя Бейлиса, доказывая, что в иудаизме нет ритуальных убийств. Защита невинного человека возымела действие и положила предел беззаконию.

В годы Первой мировой войны о. Александр Глаголев был полковым священником 5-го Каргопольского драгунского полка, где рядовым, а потом унтер-офицером служил будущий Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский. Что еще важнее, полк входил в состав 5-й кавалерийской дивизии, которой долгое время командовал генерал П.П. Скоропадский, будущий гетман Украины и персонаж булгаковской «Белой гвардии» и «Дней Турбиных». О. Александр наверняка был знаком с будущим гетманом и, думаю, Булгаков в изображении Скоропадского опирался, в числе прочего, и на его рассказы.

18 августа 1916 года приказом № 159 по 5-му Каргопольскому драгунскому полку его командир полковник Петерс объявил: «Приказом по ведомству протопресвитера Военного и морского духовенства от 11 июля с. г. № 31 полковой священник отец Александр Глаголев



оставляет наш полк, с которым неотлучно пробыл с самого начала войны. Полк привык и любил его пастырское слово, которое зачастую являлось сильной нравственной поддержкой в трудные моменты войны.

На поле боя отец Александр не только утешал раненых своим задушевным словом, но и оказывал посильную помощь в перевязке их. Во время затишья своими беседами в эскадронах и командах отец Александр умел завоевать глубокую симпатию среди драгун: его слушали и понимали. Его речи были ясны и чрезвычайно полезны для нравственной подготовки людей. От лица службы благодарю отца Александра за его полезную деятельность во вверенном мне полку.

С глубоким сожалением полк расстается со своим пастырем, и, прощаясь с Вами, каждый верующий скажет: «Да заповедает Господь Бог Ангелам своим охранять ты во всех путях твоих»».

Александр Глаголев никому не отказывал в помощи, по свидетельству близких и друзей, в любое время дня и ночи он спешил на помощь.

В 1924 году Киевская духовная академия была закрыта, а в 1934 году власти начали разрушать храм Николы Доброго. Еще в 1931 году о. Александр Глаголев был арестован в первый раз. Полгода священника продержали в Лукьяновской тюрьме, однако выпустили за отсутствием улик. Вторично его посадили в 1937 году, инкриминировав ему «активное участие в антисоветской фашистской организации церковников». Вот что вспоминала М.А. Глаголева-Пальян:

«В 1937 году полностью сбылось предсказание Ф.М. Достоевского: «Если Бога нет – все дозволено». 17 октября 1937 года арестовали (17 ноября 1937 года расстреляли) священника Михаила Едлинского, друга дедушки, который служил в Набережно-Никольской церкви с дедушкой вплоть до ареста». А в ночь с 19 на 20 октября 1937 года, еще до рассвета, «черный ворон» подкатил к жилищу Александра Глаголева. «Мама, – продолжает Магдалина Алексеевна, – по всем инстанциям ходила сама, всюду называя себя дочерью о. Александра Глаголева. С ночи записывалась на прием к следователю, прокурору. Выстаивала в очередях для посылки денег. Это тоже являлось тестом: если деньги в тюрьме принимают, значит, человек еще находится здесь, на месте.

В конце ноября 1937 года, дождавшись своей очереди у следователя, мама услышала:

– Он... умер.

– Когда, как?

– Разговор окончен.

Мы пережили смерть дедушки. Ходили за утешением и заочным погребением к дедушкиному другу – архиепископу Антонию Абашидзе, жившему на Кловском спуске в маленькой хибарке. Он когда-то преподавал в Тифлисской семинарии и был учителем Сталина. Может быть, поэтому его не тронули». А далее появилась надежда. А вдруг священник жив? Ведь когда Татьяна Павловна попробовала передать деньги в тюрьму, их приняли. Затеplилась надежда. А вскоре по большому доверию ей сообщили о том, что Глаголев «скоро будет послан по этапу, можно передать теплые вещи». Вещи приняли... «Мама, – пишет Магдалина Глаголева-Пальян, – снова записывается к тому следователю, который сказал о дедушкиной смерти. Прием ведет другой. Отвечает: «Находится под следствием».

– А когда принимает товарищ такой-то? – мама называет фамилию.

– Он не работает.

– Что, в отпуске?

– Нет, он враг народа.

Папа ночами ходил на Лукьяновское кладбище. Из тюрьмы туда вывозили трупы в грузовиках, открывали борт машины и сбрасывали тела в общую могилу. Там папа предполагал узнать дедушку. Только в 1944 году в Москве маме ответили официально, что А.А. Глаголев

умер 25.11.37 года от уремии и сердечной недостаточности. Так служба НКВД всячески пыталась скрыть следы своего преступления.

Через шестьдесят лет, в феврале 1997 года, я была допущена ознакомиться с тюремным делом за № 71156 ФП на Александра Александровича Глаголева, арестованного 20 октября 1937 г. по обвинению в активном участии в антисоветской фашистской организации церковников. Преступление по ст. 54–10 и 54–11 УК УССР. У меня создалось впечатление, что над материалами «дела» позднее усердно «поработали».

Думаю, что Булгаков так и не узнал о гибели о. Александра. Последний раз в Киеве Михаил Афанасьевич был в августе 1937 года, когда возвращался после отдыха на даче актера В.А. Степуна в Богунье под Житомиром. В дневниковых же записях Елены Сергеевны за конец 1937-го и последующие годы имя Глаголева нигде не упоминается. Вряд ли бы она упустила столь важное для мужа событие. Сообщать же об арестах, а тем более о гибели арестованных в письмах было не принято. Письма очень часто перлюстрировались, и излишняя откровенность могла сама по себе послужить поводом для новых арестов.

Но до всех этих трагедий, повторяю, было еще очень далеко. Пока же Михаил и Тася, не предвидя грядущие бури, наслаждались медовым месяцем.

Татьяна Николаевна вспоминала: «После венчания жили вместе на Рейтарской, потом – на Андреевском спуске, против Андреевской церкви, у Ивана Павловича Воскресенского. Там была одна комната, но с отдельным входом. Мы ходили в Купеческий сад на каждый симфонический концерт. Он очень любил увертюру к «Руслану и Людмиле», к «Аиде» – напевал: «Милая Аида... Рая создание...» По словам Татьяны Николаевны, особенно полюбился им «Фауст»: «Фауста» слушали, наверно, раз десять... Больше всего Михаил любил «Фауста» и чаще всего пел «На земле весь род людской» и арию Валентина – «Я за сестру тебя молю».

Михаил не одобрял связь матери с Воскресенским Т.Н. Лаппа свидетельствует: «Михаил... все возмущался, что Варвара Михайловна с Воскресенским... Он каждую субботу приезжал в Бучу, а если они были в Киеве, приходил все время, поздно возвращался. Даже ночевать оставался где-то там... отдельно... не знаю, Михаила это очень раздражало. Он мне говорил: «Я просто...» Он выходил из себя. Конечно, дети не любят, когда у матери какая-то другая привязанность. Или они уходили гулять куда-то там на даче, он говорит: «Что это такое, парочка какая пошла». Переживал. Он прямо говорил мне: «Я просто поражаюсь, что мама затеяла роман с доктором». Очень был недоволен». В «Белой гвардии» временем смерти матери Турбиных назван май 1918 года, когда состоялся брак Варвары Михайловны с И.П. Воскресенским, который был ее младше на десять лет.

Учеба в свое время для Таси была лишь предлогом: ей хотелось быть рядом с возлюбленным. Отец присылал ей ежемесячно 50 рублей. Часть этой суммы шла в уплату за обучение. Через полгода Тася бросила учебу, плата за которую наносила семейному бюджету слишком сильный урон.

Первые годы молодые жили вполне счастливо, о деньгах, как и раньше, особенно не заботились. Достаточно много присылали родители Таси, Михаил к тому же давал частные уроки гимназистам, чтобы платить за квартиру, которую они снимали на Рейтарской, 25. А летом он стал еще подрабатывать контролером на дачных поездках. Татьяна Николаевна навсегда запомнила это беззаботное время, которое уже никогда потом не могло повториться: «Мы все сразу тратили... Киев тогда был веселый город, кафе прямо на улицах, открытые, много людей... Мы ходили в кафе на углу Фундуклеевской, в ресторан «Ротце». Вообще, к деньгам он так относился: если есть деньги – надо их сразу использовать. Если последний рубль и стоит тут лихач – сядем и поедем! Или один скажет: «Так хочется прокатиться на авто!» – тут же другой говорит: «Так в чем же дело – давай поедем!» Мать ругала за легкомыслие. Придем к ней обедать, она видит – ни колец, ни цепи моей. «Ну, значит, все в ломбарде!» – «Зато мы никому не должны!»

В 1923 году, пережив бурю революции и Гражданской войны, Булгаков вспоминал о том волшебном периоде своей жизни в фельетоне «Киев-город»: «Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты! А Выдубецкий монастырь на склонах. Зеленое море уступами сбегало к разноцветному ласковому Днепру. Черно-синие ночи над водой, электрический крест Св. Владимира, висящий в высоте... Это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей Родины жило беспечальное юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жесткий, крупный ласковый снег...»

Первые грозы грянули в 1914 году. 19 июля началась Первая мировая война. Михаил с женой в этот момент были в Саратове, навещали Таниных родителей. Мать Таси, Евгения Викторовна Лаппа, на общественные средства организовала госпиталь для раненых. Михаил помогал ей, делал перевязки. Татьяна Николаевна вспоминала: «...В 1914 году поехали на лето в Саратов. Там застала война. Мама организовала госпиталь при Казенной палате, и Михаил проработал там до начала университетских занятий. Это была его первая... медицинская практика...» Но пока в Саратове и в Киеве, куда они вскоре вернулись, дыхание войны ощущалось слабо. О ней напоминали только раненые в госпиталях. В Киеве Тася тоже какое-то время работала в госпитале, кормила раненых, очень уставала, и Михаил настоял, чтобы она ушла оттуда.

В 1914 году боевые действия шли далеко от Киева – в Восточной Пруссии, Польше, Восточной Галиции, и на образ жизни киевлян война еще повлияла мало. Именины Михаила 8 ноября праздновали как в прежние годы. Подробный рассказ об этом сохранился в письме Илларины (Лили) Михайловны Булгаковой ее двоюродной сестре Н.А. Земской в Москву 11 ноября 1914 года: «Были только свои и близкие знакомые... Сначала шли поздравления и демонстрация подарков – Тася – английскую трубку, мама – кавказские запонки, Саша (А.П. Гдешинский. – Б.С.) – 5-ю рапсодию Листа, от которой «зажигаются огни в душе», я – коробку зернистой икры с надписью из «божественного» Уайльда, на кот<орого> невольно в результате сбивается жизнь вокруг: «Люди чудовища. Единственное, что остается, это получше их кормить». Вечер прошел тихо, один из обычных вечеров в зеленой столовой, когда шумит самовар, безапелляционно утверждает что-либо мама, ничего не замечая, углублен в свои мысли Саша, хохочет Вера, смотрит и слушает Мишу Тася, в унисон с Мишей острит Варя... Пробовал играть Саша на скрипке. Но концерт проходил в пустой гостиной (гости играли в карты, я с Тасей сидела у себя...). Скрипка скоро замолчала... Разошлись... Война томит всех. Все чаще на улицах появляются ползающие на костылях «они». Жуть. Вчера вечером около остановки трамвая проходили мерным шагом, не спеша, наши – русские. Шли к вокзалу, отправляясь на войну...

Знаешь, Надечка, – осуждай меня, – страшно часто бываю в театре. Грех какой! После стона, которым пропитана перевязочная, уходить в море сладостных звуков!.. Завтра думаю быть с Тасей на «Садко»... Нравятся она с Мишкой тебе? Они живут настоящим семейным домом. Устраивают субботы; винтят (имеется в виду игра в винт. – Б.С.)».

Уже не томление, а жар войны Киев почувствовал в 1915 году. В мае австро-германские войска прорвали русский фронт у Горлицы, заняли Польшу, Галицию, Литву, часть Волыни, Латвии и Белоруссии. Командующий Юго-Западным фронтом генерал-адъютант Н.И. Иванов, опасаясь, что противник может двинуться дальше, разрабатывал планы отвода войск за Днепр и эвакуации Киева. Однако германское командование не имело достаточно сил для продолжения наступления. Фронт стабилизировался вплоть до весны 1916 года. Тем не менее осенью 15-го из Киева началась частичная эвакуация учебных заведений. Медицинский факультет предполагалось переместить в Саратов, в связи с чем Михаил отправил туда к родителям

Тасю. Но военная опасность миновала, и уже в октябре, пробыв в Саратове меньше месяца, она вернулась в Киев. Варвара Михайловна 18 октября писала Наде в Москву: «У меня же обедают и Миша с Тасей, которая вернулась еще 1 октября, не будучи в силах вынести дольше разлуку с Мишей».

В 1915 году Булгаков пережил трагедию, оставившую след на всю жизнь: на его глазах застрелился близкий друг Борис Богданов. Об этом печальном событии сохранилась запись в дневнике Н.А. Земской: «Боря Богданов – близкий друг М.А., сидевший с ним на одной парте несколько лет. Бывал в доме Булгаковых летом почти ежедневно, а зимой часто. Дача Богдановых находилась недалеко от дачи Булгаковых. В 1914 году был призван на военную службу и служил в инженерных войсках. Застрелился в присутствии М. Булгакова: Борис лежал на постели у себя в комнате, куда к нему зашел Миша; разговаривали; потом Борис попросил посмотреть у него в карманах пальто, висевшего у двери на вешалке, нет ли там денег; Миша отошел к двери, в это время Борис выстрелил себе в голову; на стуле у постели, на крышке от папиросной коробки, было написано, что в смерти своей он просит никого не винить». О смерти Бориса В.М. Булгакова сообщала Наде 2 марта 1915 года: «О смерти Бори Богданова ты знаешь уже от Вари... Он экстренно вызвал к себе Мишу и тут же при нем застрелился. Промучился ночь и на другой день умер... Миша вынес немалую пытку...» Об этом же эпизоде много лет спустя вспоминала и Татьяна Николаевна: «А этот Борис был веселый. И вот однажды получил Михаил от него записку: «Приходи, я больной». Пришел он к Борису. «Что с тобой?» – «Да вот, какая-то хандра... Не знаю, что со мной». Что-то посидели, поговорили, потом Борис говорит: «Слушай-ка, достань там мне папиросы в кармане». Михаил отвернулся, а он – пах!.. и выстрелил в себя. Михаил повернулся, а тот выговорил: «Типейка... только...» – и свалился. Напоевал. Он хотел сказать, что там никаких папирос нету, только копейка: «Типейка там...» Михаил прибегает и рассказывает. Очень сильно это подействовало на него. Он и без этого всегда был нервный. Очень нервный. На коробке от папирос было написано, что «в моей смерти прошу никого не винить». Кто-то его якобы в трусости, что ли, обвинил... интересный такой парень был».

Были слухи, что Борис покончил с собой из-за обвинений в трусости, нежелании идти на фронт. Но более правдоподобны, на наш взгляд, другие предположения. Говорили, что Борис покончил с собой из-за растраты казенных денег. Если это так, то находят объяснение его последняя просьба к Михаилу посмотреть деньги в карманах пальто и последние слова самоубийцы о том, что денег там осталась лишь копейка («типейка» на гимназическом жаргоне). Была и более романтическая версия: Богданов застрелился будто бы из-за отказа сестры Михаила Вари выйти за него замуж. В этом случае можно понять, почему именно Варя первой сообщила в Москву о самоубийстве Бориса и почему самоубийство было намеренно совершено в присутствии Михаила. Не исключено, что причин было несколько и их совокупность давила на Бориса и привела в конце концов к роковому шагу. Возможно, что Булгаков знал и что-то более определенное о том, почему именно застрелился его друг, но никаких свидетельств на этот счет нам не оставил.

Наверное, это была первая смерть, которую ему довелось увидеть воочию. Память о ней отразилась во многих произведениях Булгакова: в рассказе «Красная корона» – смерть брата главного героя, в повести «Морфий» – самоубийство доктора Полякова, в неоконченной повести 1929 года «Тайному другу» – попытка самоубийства главного героя. В тяжелых жизненных обстоятельствах и у самого Булгакова не раз возникали мысли о самоубийстве – видимо, именно поэтому автобиографический герой повести «Тайному другу» пытается застрелиться из браунинга, как когда-то Борис Богданов. Но вскоре после гибели друга Булгакову пришлось увидеть великое множество смертей – и в Первую мировую, и в Гражданскую, – оставивших неизгладимый след в его творчестве.

С мая 1915 года Михаил подрабатывал в военном госпитале Красного Креста на Госпитальной, 18. (Российское общество Красного Креста, сокращенно – РОКК. Не отсюда ли фамилия одного из героев повести «Роковые яйца»?) Весной 1916-го в связи с подготовкой к выпускным экзаменам эта работа, скорее всего, была временно оставлена. Окончание университета Михаил отпраздновал с друзьями. Татьяна Николаевна вспоминала об этом: «Михаил никогда не бывал пьян, пил мало. Один только раз я видела его пьяным – пили со студентами после окончания университета. Он пришел и сказал: «Знаешь, я пьян». – «Ну, ложись». – «Нет, пойдем гулять». Мы прошли немного вверх по Владимирской, потом вернулись. Это было уже на рассвете».

Веселье выпускника, свежееиспеченного «лекаря с отличием», не могло в ту трагическую пору великой войны продолжаться долго. Михаил вновь поступил в госпиталь: по одной версии, опять вернулся в киевский госпиталь РОККа, который вскоре перевели в распоряжение Юго-Западного фронта в Каменец-Подольский. По другой версии, изложенной в воспоминаниях Т.Н. Лаппа, Булгаков «пошел в Красный Крест, чтобы его направили в какой-нибудь киевский госпиталь, но ему дали направление в Каменец-Подольский». Управление главнымуполномоченного Красного Креста Юго-Западного района находилось в Киеве по адресу: Бибиковский бульвар, 8. Булгаков так описал его в «Белой гвардии»: «В отделе снабжения, помещавшемся в прекраснейшем особнячке на Бульварно-Кудрявской улице, в уютном кабинете, где висела карта России и со времен Красного Креста оставшийся портрет Александры Федоровны, полковника Най-Турса встретил маленький, румяный странным румянцем, одетый в серую тужурку, из-под ворота которой выглядывало чистенькое белье, делавшее его чрезвычайно похожим на министра Александра II, Милютину, генерал-лейтенант Макушин». С 18 мая 1915 года Булгаков работал в Киевском военном госпитале в Печерске.

В начале мая 1916 года Михаил прибыл в Каменец-Подольский, и через неделю к нему присоединилась Тася. Незадолго до этого, 6 апреля 1916 года, он получил «Временное свидетельство» об окончании университета. Диплом о его окончании он забрал из канцелярии только в марте 1917 года, уже после Февральской революции. По этому поводу в автобиографии 1924 года Булгаков не без иронии писал: «Учился в Киеве и в 1916 году окончил университет по медицинскому факультету, получив звание лекаря с отличием. Судьба сложилась так, что ни званием, ни отличием не пришлось пользоваться долго».

Татьяна Николаевна вспоминала: «После сдачи выпускных экзаменов Михаил добровольно поступил на службу в Киевский военный госпиталь. Вскоре его перевели поближе к фронту – в город Каменец-Подольский. Я поехала за мужем, пробыла недолго там – всех офицерских жен отправляли в тыл, и я вернулась в Киев. Однако сразу же после моего отъезда Михаил стал хлопотать, чтобы ему разрешили выписать к себе жену как сестру милосердия. Ему удалось получить добро, и он сразу дал телеграмму. Получив известие, я взяла билет и в тот же день отправилась к Михаилу. Он встретил меня на станции Ош, и на машине мы быстро добрались в Каменец-Подольский. Нас поселили в небольшой комнате, в доме, расположенном на территории госпиталя... я стала учиться и помогать Михаилу в операционной... Михаил часто дежурил ночью, а под утро приходил физически и морально разбитым: спал несколько часов, а потом опять госпиталь... И так почти каждый день. К своим обязанностям Михаил относился ответственно, старался помочь больным, облегчить их страдания. Это было замечено, и несколько раз медицинское начальство объявляло ему благодарности... Несмотря на занятость, мы с Михаилом смогли выбраться в театр и бегло осмотреть центр этого красивого города со старинными костелами и мрачными средневековыми постройками».

Они еще не знали, что вернутся в Киев уже в другую эпоху, что беспечальная юность совсем скоро кончится навсегда.

Работать в госпиталь Булгаков пошел не только из патриотических чувств и сострадания к покалеченным на войне, но и из-за причин сугубо материальных. По словам Т.Н. Лаппа:

«Потом надо было куда-то устраиваться. Ведь надо жить на что-то (опять это «А чем же вы будете жить?», не раз повторяющееся в булгаковской судьбе. – Б.С.). На 50 рублей не очень-то (имеются в виду те 50 рублей, что ежемесячно присылали родители Таси. – Б.С.)...»

Булгаковы оказались в Каменец-Подольском незадолго до начала (22 мая) наступления войск Юго-Западного фронта, позднее названного «Брусиловским прорывом». Вскоре после начала активных боевых действий из прифронтовой полосы жен отозвали, а госпиталь перевели в город Черновицы, занятый русскими войсками 4 июня. Т.Н. Лаппа запомнилось, что муж трудился усердно: «Он очень уставал после госпиталя, приходил – ложился, читал. В Черновицах... купили однажды после жалованья груши дюшес и красное вино... Как-то пошли в ресторан... вышли – нищенка, Михаил протянул руку за портмоне, оно осталось в ресторане; вернулись, нам тут же отдали. Да, он всегда подавал нищим, вообще совсем не был скупым, деньги никогда не прятал...»

Фронт отодвинулся от Черновиц на 80 километров, и Михаил вновь вызвал Тасю и устроил ее вольнонаемной сестрой милосердия. Бои были тяжелые, шел большой поток раненых. Русские войска истекали кровью, но так и не смогли овладеть стратегически важным железнодорожным узлом Ковелем и осуществить новый прорыв, хотя главное командование надеялось, что, в случае развития успеха, вообще удастся вывести Австро-Венгрию из войны. В период с мая по декабрь 1916 года войска Юго-Западного фронта потеряли убитыми 201 тысячу солдат и офицеров, ранеными – 1091 тысячу и пропавшими без вести (главным образом – пленными) – 153 тысячи.

Татьяна Николаевна вспоминала: «Операции шли буквально день и ночь, ведь наступление приостановилось, тяжелые позиционные бои шли невдалеке от города. Я работала сестрой, держала ноги, которые он ампутировал. Первый раз стало дурно, потом ничего. Он был там хирургом, все время делал ампутации. В боях не участвовал, на позиции, насколько я знаю, не выезжал». Страдания раненых, которых ежедневно приходилось оперировать, сделали Булгакова стойким пацифистом. Его пацифизм отразился, например, в автобиографическом рассказе 1922 года «Необыкновенные приключения доктора», где утверждается «проклятие войнам отныне и навеки», в антивоенной пьесе начала 30-х «Адам и Ева», где власть оказывается не готовой воспользоваться гениальным изобретением ученого, способного предотвратить будущую войну. Пацифистские настроения были усилены опытом Гражданской и последующих войн. И в «Мастере и Маргарите» Воланд, продемонстрировав Маргарите на своем хрустальном глобусе ужасы войны, замечает, что ее результаты «для обеих сторон бывают всегда одинаковы».

С пребыванием в Черновицах связан любопытный эпизод. Как рассказала Т.Н. Лаппа, сестра Михаила Надя «тогда увлекалась агитацией, хождением в народ – насовала мне прокламаций, чтобы разбрасывать, и я – такая дура! – взяла. Потом ужасно боялась, что Михаил увидит, – он бы меня убил! Когда приехали – сожгла в камине...»

Революционных увлечений сестры и ее мужа А.М. Земского (они познакомились с Надей в 1916 году, когда Андрей был юнкером Киевского артиллерийского училища, а поженились они в июле 1917 года) Булгаков точно не разделял. Уже в советское время эти увлечения не остались безнаказанными – Андрей Михайлович был отправлен в ссылку.

Между тем в судьбе молодого зауряд-врача (т. е. военного врача, не имеющего классного чина) намечались перемены. Еще 5 июня 1916 года император Николай II санкционировал откомандирование 300 врачей выпуска этого года – ратников ополчения второго разряда – в распоряжение Министерства внутренних дел для использования их в земствах, но с сохранением прав и преимуществ, установленных для врачей резерва. Булгаков еще в ноябре 1912 года при явке к исполнению воинской повинности был зачислен в ратники ополчения второго разряда по состоянию здоровья (позднее, как мы увидим, по этой же причине он вовсе был освобожден от прохождения военной службы) и поэтому сразу же попал в число 300 врачей, коман-

дируемых в земства. Ранее, весной 1915 года, Булгаков хотел поступить на службу врачом в военно-морское ведомство, но был признан негодным по состоянию здоровья. 16 июля 1916 года он был определен «врачом резерва Московского окружного военно-санитарного управления» и откомандирован в распоряжение смоленского губернатора. Однако Черновицы они оставили только в середине сентября.

Т.Н. Лаппа свидетельствует: «Осенью (1916 г. – Б.С.) Михаила вызвали в Москву. В штабе решили, что на фронте нужны опытные тыловые врачи, а молодежь должна занять их место. Так мы попали в Смоленскую губернию. Сначала в Никольскую больницу Сычевского уезда, а с осени 1917 в город Вязьму – городскую уездную больницу, где Михаил проработал до февраля 1918 года». Дело в том, что 11 июля последовало «Высочайшее соизволение на перенесение призыва ратников ополчения первого и второго разрядов, назначенного на 15-е сего июля (Высочайший указ Правительствующему Сенату от 4 июля), на 15-е августа сего года». Ехали Булгаковы в Смоленскую губернию через Москву и навестили сестру Надю. Об этом посещении она сделала запись 22 сентября 1916 года – характерный срез булгаковских мыслей и настроений: «Вечер. Миша был здесь три дня с Тасей. Приезжал призываться, сейчас уехал с Тасей (она сказала, что будет там, где он, и не иначе) к месту своего назначения «в распоряжение смоленского губернатора». Привез он с собой дикое и нелепое известие о мамином здоровье (у В.М. Булгаковой подозревали рак, но впоследствии диагноз не подтвердился. – Б.С.). Привез тревогу, трезвый взгляд на будущее, жену, свой юмор и болтовню, свой столь привычный и дорогой мне характер, такой приятный для всех членов нашей семьи. И, как всегда чувствовалось перед лицом серьезного несчастья, привез заботу о семье, и струны нашей связи – моей с ним – нашей общей, семейной – вдруг зазвучали, перед лицом серьезного несчастья, очень громко...»

Тогда тревога Михаила была связана только с предполагаемой болезнью матери. Ни он, ни Тася, ни Надя, как и подавляющее большинство современников, не могли и подумать, что через каких-нибудь пять месяцев случится революция, которая положит начало ломке прежнего жизненного уклада, и что довершат эту ломку через год большевики.

Каким же был Михаил Булгаков в свои гимназические и студенческие годы, что читал, о чем размышлял и мечтал, думал ли о своем литературном призвании, видел ли себя в будущем врачом или, быть может, исследователем-естествоиспытателем? Каков был его духовный багаж? Ответы на эти и другие вопросы приходится в основном искать в воспоминаниях и переписке родных и близких будущего писателя – сам он подобных свидетельств нам почти не оставил.

Надежда Афанасьевна Булгакова в письме К.Г. Паустовскому от 28 января 1962 года так обрисовала гимназический круг чтения старшего брата: «Любимым писателем Михаила Афанасьевича был Гоголь. И Салтыков-Щедрин. А из западных – Диккенс. Чехов читался и перечитывался, непрестанно цитировался, его одноактные пьесы мы ставили неоднократно... Читали Горького, Леонида Андреева, Куприна, Бунина, сборники «Знания». Достоевского читали все... Читали мы западных классиков и новую тогда западную литературу: Мопассана, Метерлинка, Ибсена и Кнута Гамсуна, Оскара Уайльда. Читали декадентов и символистов, спорили о них и декламировали пародии Соловьева: «Пусть в небесах горят паникадила – В могиле тьма». Спорили о политике, о женском вопросе и женском образовании, об английских суфражистках, об украинском вопросе, о Балканах; о науке и религии, о непротивлении злу и сверхчеловеке; читали Ницше».

В 1940 году, вскоре после смерти Булгакова, его ближайший друг, философ и литературовед Павел Сергеевич Попов в первом биографическом очерке о писателе сообщал явно с булгаковских слов: «Михаил Афанасьевич с младенческих лет отдавался чтению и писательству. Первый рассказ «Похождения Светлана» [так?] был им написан, когда автору исполнилось всего семь лет. Девяти лет Булгаков зачитывался Гоголем, – писателем, которого он неизменно

ставил себе за образец и наряду с Салтыковым-Щедриным любил наиболее из всех классиков русской литературы. Мальчиком Михаил Афанасьевич особенно увлекался «Мертвыми душами»... Гимназистом... читал самых разнообразных авторов: интерес к Салтыкову-Щедрину сочетался с увлечением Купером. «Мертвые души» расценивались им как авантюрный роман. Сочинения в гимназии писал хорошо, но впоследствии говорил, что «с общечеловеческой точки зрения это было дурное, фальшивое писание – на казенные темы» (писать на «социальный заказ», как видно, Булгаков терпеть не мог еще с детства, и впоследствии это часто делало его положение в советской литературе почти невыносимым. – Б.С.). Учителем словесности был человек весьма незначительный (неясно, о котором из сменявших друг друга преподавателей здесь идет речь. – Б.С.). Впрочем, от гимназии у Михаила Афанасьевича остались очень богатые впечатления, от университета – гораздо более скудные.

Похоже, что Булгакова уже тогда больше привлекали гуманитарные знания, которые преобладали в Александровской классической гимназии. Естественные же науки, преподававшиеся на медицинском факультете университета, интересовали его только с чисто практической стороны. Вероятно, выбор врачебной профессии в значительной мере диктовался желанием скорее обрести материальную независимость, иметь возможность содержать семью. Выбор историко-филологического факультета предполагал в ближайшие годы после выпуска педагогическую деятельность или, в случае оставления при университете, научную работу, что обещало значительно меньшие доходы, чем деятельность врача, особенно с учетом частной практики. По свидетельству П.С. Попова, медицинский факультет Булгаков выбрал не без колебаний – «его интересовали также юридические науки». Скорее всего, альтернативный выбор адвокатской профессии диктовался теми же материальными соображениями: возможностью относительно более высоких доходов, главным образом за счет частной клиентуры.

Н.А. Земская вспоминала: «Мы посещали киевские театры. Любили театр Соловцова и бывали в нем. Михаил Афанасьевич чаще нас всех. Но увлечение оперой преобладало». Вызвано оно было любовью к музыке и пению. Отец Михаила играл на скрипке и обладал приятным мягким басом. На пианино в доме играли все, а сестра Варя даже училась в Киевской консерватории по классу рояля. Сестра Вера после гимназии стала участницей известного хора Кошица. Младшие братья освоили балалайку, домру и духовые инструменты. Ивану Афанасьевичу позднее в эмиграции пришлось стать профессиональным балалаечником и исполнителем русских народных песен. По воспоминаниям Надежды Афанасьевны, когда один из братьев «принес домой тромбон и начал дома разучивать свою партию на тромбоне», нервы матери не выдержали, «и тромбон был отправлен обратно в гимназию».

А в письме Паустовскому от 28 мая 1962 года Надежда Афанасьевна поведала о музыкальных пристрастиях семьи: «...Увлечение оперой преобладало. Мы увлекались оперой, серьезной музыкой и пением. С детства мы привыкли засыпать под музыку Шопена: уложив детей спать, мама садилась за пианино... В старших классах гимназии мы стали постоянными посетителями симфонических концертов зимой и летом; с нетерпением ждали открытия летнего сезона в Купеческом саду... Вся семья пела; у нас образовался свой домашний хор с участием близких друзей. Пели хором мои любимые «Вечерний звон» и «Выхожу один я на дорогу» (запевал нежным тенором младший брат Ваня), а наряду с этим пели «Крамбамбули», «Антоныча», «Цыпленка»; любили петь солдатские песни, чаще других «Вещего Олега» и «Взвейтесь, соколы, орлами». Обе эти песни Михаил Афанасьевич ввел в «Дни Турбиных»... У Михаила Афанасьевича был мягкий красивый баритон. Брат мечтал стать оперным артистом. На столе у него, гимназиста, стояла фотографическая карточка артиста Киевской оперы Льва Сибирякова – с надписью, которую брат с гордостью дал мне прочесть: «Мечты иногда превращаются в действительность»... Михаил Афанасьевич играл на пианино увертюры и сцены из всех своих любимых опер: «Фауст», «Кармен», «Руслан и Людмила», «Севильский цирюльник», «Травиата», «Тангейзер», «Аида». Пел арии из опер. Особенно часто он пел все мужские



арии из «Севильского цирюльника» и арию Валентина из «Фауста», эпиталаму из «Нерона». Когда Киевский оперный театр начал ставить оперы Вагнера, мы слушали их все (Михаил, конечно, по несколько раз), а в доме зазвучали «Полет валькирий» и увертюра из «Тангейзера».

Любимыми операми Булгакова, кроме «Фауста», были «Кармен», «Руслан и Людмила», «Севильский цирюльник», «Травиата», «Тангейзер», «Аида». Любил он и эпиталаму из «Нерона». Цитаты из этих и некоторых других опер обильно рассеяны в булгаковских произведениях. Достаточно вспомнить «К берегам священным Нила...» в «Собачем сердце» – символ не только невозвратно утраченной стабильности дореволюционной жизни, но и вечных культурных ценностей, которые не в состоянии поколебать никакой «хомо советикус» вроде Шарикова.

По словам Надежды Афанасьевны, Булгаков не только играл на пианино (правда, любительски), но и обладал мягким красивым баритоном. На столе у него с гимназических лет стояла фотография артиста Киевской оперы Льва Сибирякова с дарственной надписью: «Мечты иногда претворяются в действительность». По свидетельству второй жены Булгакова, Л.Е. Белозерской, это фото Булгаков сохранил и в Москве. Только вот мечтам об оперной карьере не суждено было сбыться. Как объясняет Т.Н. Лаппа, булгаковский баритон «быстро пропал. Он мог только несколько нот взять и больше уже не мог. Но слух у Михаила был прекрасный». Татьяна Николаевна запомнила также совместное музицирование братьев Булгаковых и Александра Гдешинского, который «замечательно на скрипке играл. Они как соберутся... Колька с Ванькой на балалайках, Сашка на скрипке, еще один приходил, на виолончели играл. А Михаил на пианино или дирижирует».

После революции эти музыкальные вечера безвозвратно ушли в прошлое. В конце 1939 года, уже будучи смертельно больным, Булгаков просил Александра Гдешинского припомнить подробности тех давних вечеров: что играли, как сидели, стремясь воссоздать в памяти фрагменты дорогого прошлого.

И все-таки главным для будущего писателя уже в юные годы стало увлечение театром и литературой. Н.А. Земская в своих дневниках упоминает ряд пьес, написанных Булгаковым «для домашнего употребления». В частности, две пьесы были посвящены свадьбе Михаила и Таси. Из первой, в духе Островского названной «С мира по нитке – голому шиш», приведем следующий диалог:

«Бабушка (Елизавета Николаевна Лаппа): Но где же они будут жить?

Доброжелательница (Софья Николаевна Лаппа-Давидович): Жить они вполне свободно могут в ванной комнате. Миша будет спать в ванне, а Тася – на умывальнике».

Вторая же пьеса, названная «Tempora mutantur (Времена меняются – *лат.*), или Что вышло из того, который женился, и из другого, который учился», сегодня именовалась бы комиксом. Это была пьеса в рисунках-кариатурах, нарисованных Михаилом и очень смешных. Главными героями были сам Михаил и его двоюродный брат Константин Булгаков. Эта пьеса была написана уже после начала Первой мировой войны, когда 18 августа 1914 года Санкт-Петербург был переименован в Петроград. На первой картинке Костя был в гимназической форме, а Михаил в новеньком пиджаке и брюках и с папироской в зубах. Между ними происходил такой диалог: Миша: «Что ты все молчишь?» Костя: «Убирайся к черту!» На следующей картинке, датированной 1913 годом, Костя был уже в студенческой тужурке, а Михаил – в новом пиджаке с бабочкой, но слегка мятом, и с сигарой. Он радостно объявлял: «Я женюсь!», на что Костя с сердцах отвечал: «Ну и дурак!» Третья картинка была отнесена к 1915 году, когда, вероятно, и была написана пьеса. Там Константин был уже в форме военного чиновника геолого-разведочного ведомства, а Михаил был в заплятанном костюме и заискивающе обращался к брату: «Здравствуй, Костенька! Ишь ты, какой ты стал важный!» Костя же отвечал презрительно: «А ты все такая же босявка!» Еще одна картинка переносила действие в не столь далекое и, как казалось, для большинства беспечальное будущее – 1925 год. Здесь Михаил уже

был с бородкой и лысиной, в сильно потертом костюме, а Константин – в мундире высокопоставленного чиновника с орденом. Он давал Михаилу сторублевку со словами: «Получай... Но помни: в последний раз! Я так и знал, что из тебя ни черта не выйдет!» Миша же униженно оправдывался: «Жена, Костенька, дети...!» И, наконец, финальная картинка 1935 года. В служебном кабинете Костя с бакенбардами, в генеральском мундире с множеством орденов высших степеней дает небритому и оборванному Мише с красным носом закаленного пьяницы банкноту в пять тысяч рублей со словами: «Получай! И чтоб твоего духу в Петрограде не было! И если я узнаю, что ты осмелишься выдавать себя еще раз за моего родственника... я т-тебя, мерзавца...» Миша же в ответ только шепчет: «Слушш... Ваше... ство!»

Относительно К.П. Булгакова прогноз в целом сбывся. Константин Петрович, правда, не стал гражданским генералом, но, счастливо миновав все бури революции и Гражданской войны, работал в Американской организации помощи голодающим (АРА), эмигрировал и стал преуспевающим инженером-нефтяником и бизнесменом. Правда, в итоге мы теперь знаем его только как двоюродного брата великого писателя – Михаила Афанасьевича Булгакова.

Юмористическая струя в творчестве юного Булгакова питалась не только популярным в семействе Чеховым и обожаемым Гоголем... Н.А. Земская в 60-е годы писала К. Паустовскому: «Мы выписывали «Сатирикон», активно читали тогдашних юмористов – прозаиков и поэтов (Аркадия Аверченко и Тэффи). Любили и хорошо знали Джерома К. Джерома и Марка Твена. Михаил Афанасьевич писал сатирические стихи о семейных событиях, сценки и «оперы», давал всем нам стихотворные характеристики... Многие из его выражений и шуток стали у нас в доме «крылатыми словами» и вошли у нас в семейный язык. Мы любили слушать его рассказы-импровизации, а он любил рассказывать нам, потому что мы были понимающие и сочувствующие слушатели, – контакт между аудиторией и рассказчиком был полный, и восхищение слушателей было полное». Эти рассказы-импровизации теперь широко известны: часть воспроизвел в своих книгах Константин Паустовский, часть после смерти писателя записала его вдова Елена Сергеевна. Относятся известные рассказы к 20-30-м годам и часто посвящены Сталину, но первые опыты импровизаций были еще в гимназические и студенческие годы.

Паустовский вспоминает, как выдуманные Булгаковым эпизоды из биографии гимназического надзирателя по прозвищу Шпонька звучали столь убедительно, что начальство включило их в послужной список Шпоньки и, похоже, именно на основе этих плодов булгаковской фантазии наградило надзирателя медалью за усердную службу.

Родные и близкие не остались равнодушными к литературным занятиям Михаила. 28 декабря 1912 года сестра Надя записала в дневнике: «Хорошую мне вещь показывал сегодня Миша – хорошо и удивительно интересно!.. Миша хорошо пишет». В 1960 году Надежда Афанасьевна пояснила: «В этот вечер старший брат прочел сестре свои первые литературные наброски-замыслы и сказал: «Вот увидишь, я буду писателем». Несомненно, именно об этом же говорит и запись в ее дневнике от 8 января 1913 года: «Миша жаждет личной жизни и осуществления своей цели» (т. е. хочет жениться и стать писателем). В 1960 году Надежда Афанасьевна так прокомментировала это место: «В шуме и суете нашей квартиры ему не хватало тишины и одиночества, возможности без помех сидеть подолгу за своими размышлениями у письменного стола при свете настольной лампы». В тот же день, 8 января 1913 года, Надя занесла в дневник и свои наблюдения об особенностях Мишиной речи: «Смесь остроумных анекдотов, метких резких слов, парадоксов и каламбуров в Мишином разговоре; переход этой манеры говорить ко мне... Мишины красивые оригинальные проповеди».

Что ж, увлечение литературным творчеством в виде шуточных рассказов и стихов, увлечение творчеством театральным на уровне любительских пьес и шарад не миновало в те годы многих гимназистов и студентов. Но, в отличие от них, Булгаков уже в первые годы студенческой жизни, видимо, был твердо убежден, что станет настоящим писателем. И наверное, он готовил себя к этому.

В юности Булгаков пристрастился к чтению, оставшись вдумчивым и увлеченным читателем на всю жизнь. Н.А. Земская рисует такого Булгакова-читателя: «Читатель он был страстный, с младенческих же лет. Читал очень много, и при его совершенно исключительной памяти он многое помнил из прочитанного и все впитывал в себя. Это становилось его жизненным опытом – то, что он читал. И например, сестра старшая Вера (вторая после Михаила) рассказывает, что он прочитал «Собор Парижской Богоматери» чуть ли не в 8–9 лет и от него «Собор Парижской Богоматери» попал в руки Веры Афанасьевны.

Родители, между прочим, как-то умело нас воспитывали, нас не смущали: «Ах, что ты читаешь? Ах, что ты взял?» У нас были разные книги. И классики русской литературы, которых мы жадно читали. Были детские книги (вспомним «Саардамского плотника» в «Белой гвардии» опять-таки как символ дореволюционной нормальной жизни среди разбуженных революцией стихий. – Б.С.). Из них я и сейчас помню целыми страницами детские стихи. И была иностранная литература. И вот эта свобода, которую нам давали родители, тоже способствовала нашему развитию, она не повлияла на нас плохо.

Мы со вкусом выбирали книги».

Здесь есть очень точная формула булгаковского творчества – его жизненным опытом становилось то, что он читал. Даже события реальной жизни, свершавшиеся на его глазах, Булгаков впоследствии пропускал сквозь призму литературной традиции, а старые литературные образы преображались и начинали новую жизнь в булгаковских произведениях, освещенные новым светом его гения. Булгаков, пожалуй, из всех русских писателей наиболее «литературен». Отсюда бесчисленные аллюзии и цитаты в его романах и пьесах, и особенно в «Мастере и Маргарите». И эта черта будущего литературного творчества была заложена с самой юной поры. Булгаков в декабре 1939 года в переписке с А.П. Гдешинским просил друга сообщить, какие книги были в библиотеке Киевской духовной академии, которой он, очевидно, широко пользовался в гимназические и студенческие годы (отец братьев Гдешинских, Петр Степанович, был помощником библиотекаря Академии). Возможно, перед смертью писатель хотел еще раз перечитать то, что оказало на него влияние в юности.

Гдешинский в письме 9 декабря 1939 года по памяти назвал сочинения «древнейших учителей церкви» – Августина, Оригена, Лактанция, поэму Лукреция «О природе вещей», книги Шекспира, подшивки «Трудов Киевской духовной академии» и роман Бертольда Ауэрбаха «Дача на Рейне». Скорее всего, многое из прочитанного в ранние годы Булгаков помнил уже только по содержанию, а не по названию (тот же Гдешинский в письме «Дачу на Рейне» по памяти ошибочно назвал «Виллой Эдем»). Несомненно, что будущий автор «Мастера и Маргариты» с детства был знаком и с трудами древних, и с классической, и с современной литературой, в том числе с патриархальной идеализацией немецкого народного быта в романах Ауэрбаха. К сожалению, А.П. Гдешинский так и не успел в своих письмах восстановить круг их с Булгаковым раннего чтения – помешала смерть адресата.

С детских лет проявился у Булгакова и актерский талант. Первый такой любительский спектакль, в котором играл Булгаков, – это детская сказка «Царевна Горошина», поставленная в 1903–1904 годах на квартире Сынгаевских, киевских друзей Булгаковых (Николай Сынгаевский послужил прототипом Мышлаевского в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных»). Здесь двенадцатилетний Булгаков играл сразу две роли – атамана разбойников и Лешего. Как вспоминала позднее сестра Надя: «Миша исполняет роль Лешего, играет с таким мастерством, что при его появлении на сцене зрители испытывают жуткое чувство». Позднее, летом 1909 года, в водевиле «По бабушкиному завещанию», Булгаков играл жениха – мичмана Деревеева. Тогда же в Буче поставили «балет в стихах» «Спиритический сеанс» с устрашающим подзаголовком: «Нервных просят не смотреть». Михаил был одним из постановщиков и исполнил роль спирита. Возможно, какие-то детали этой постановки отразились в булгаковских фельетонах 20-х годов «Египетская мумия» и «Спиритический сеанс».

Играл Булгаков и в чеховских постановках: жениха в «Предложении», бухгалтера Хирина в «Юбилее», а летом 1910 года под псевдонимом Агарина участвовал в платных любительских спектаклях в Буче. Об этом сохранился шуточный отзыв И.М. Булгаковой: «В Бучанском парке подвизаются на подмостках артисты императорских театров Агарин и Неверова (Миша и Вера) ... В воскресенье вечером мы были в парке, где Миша удивлял всех игрою (играл он действительно хорошо)». В целом, по отзывам современников, Булгакову лучше всего удавались характерные комические роли чеховских персонажей, тогда как, по мнению сестры Нади, «роль первого любовника – не его амплуа». Много лет спустя, уже в Художественном театре, Михаилу Афанасьевичу пришлось вспомнить молодость и сыграть, причем, по отзыву самого Станиславского, – очень неплохо, комическую роль Судьи в инсценировке диккенсовского «Пиквикского клуба». Кроме пьес молодежь ставила еще и шарады.

Через призму театра воспринимались и многие общественно значимые события тех лет. Например, Лиля Булгакова писала 24 ноября 1913 года сестре Наде в Москву: «В Киеве после Бейлиса делает сенсацию поставленная у Соловцова «Ревность» Арцыбашева. Говорят, вышел вальс «Мечты Бейлиса». Как видно, знаменитое дело Бейлиса, завершившееся оправданием подсудимого еврея, обвиненного в ритуальном убийстве, в семействе Булгаковых было воспринято достаточно спокойно, хотя и с интересом. Семейство с некоторым юмором относилось к поднятой вокруг него шумихе. Так, брат Николай 12 октября 1913 года писал Наде: «Когда я лежал в постели (больной бронхитом. – Б.С.), у меня было одно занятие: читать стенографический отчет дела Бейлиса. Таким образом, я очень хорошо знаком с этим запутанным, но интересным делом. У нас все жаждут (конечно, в шутку) познакомиться с Верой Чеберяк (свидетельницей обвинения, которая, судя по всему, сама была причастна к убийству. – Б.С.), портреты которой не сходят со страниц журналов. Вечером мама работает, Леля или Ваня вслух читают «дело» Бейлиса».

Напомним, что духовник семьи о. Александр Глаголев был свидетелем защиты по делу Бейлиса, так что можно не сомневаться, что Булгаковы были убеждены в невиновности подсудимого.

Т.Н. Лаппа вспоминала, что в момент объявления оправдательного приговора по делу Бейлиса, когда собравшаяся у здания суда толпа ликовала и люди на радостях стали обнимать и целовать друг друга, Булгаков с ней вдвоем, проходя мимо, к толпе не присоединился и ни восторга, ни сожаления не выражал. Свидетельство тем более примечательное, что в семействе Лаппа к делу Бейлиса родители отнеслись совсем не равнодушно. Когда молодежь накануне открытия суда над Бейлисом собиралась устроить вечеринку, отец очень рассердился: «Как, – говорил он маме, – Бейлиса завтра осудят, а вы танцевать будете?» Вечеринка была отменена. Вероятно, тогда Булгаков был достаточно равнодушен к общественно-политической жизни. Зато столь модные в начале века «споры на мировые темы» не обошли стороной и его.

В дневнике Н.А. Земской в обширной записи от 25 марта 1910 года зафиксированы ее споры с Михаилом о вере и неверии: «Теперь о религии... Нет, я чувствую, что не могу еще! Я не могу еще писать. Я не ханжа, как говорит Миша. Я идеалистка, оптимистка... Я – не знаю... Нет, я пока не разрешу всего, не могу писать. А эти споры, где И.П. (Воскресенский. – Б.С.) и Миша защищали теорию Дарвина и где я всецело была на их стороне, – разве это не признание с моей стороны, разве не то, что я уже громко заговорила, о чем молчала даже самой себе, что я ответила Мише на его вопрос: «Христос – Бог, по-твоему?» – «Нет!» Сестра Михаила явно переживала душевное смятение: «Я не знаю! Я не знаю. Я не думаю... Я больше не буду говорить... Я боюсь решить, как Миша (здесь позднее Надежда Афанасьевна сделала пояснение: «неверие». – Б.С.), а Лилия, Саша Гдешинский считают меня еще на своей стороне... (здесь Н.А. Земская позднее приписала: «т. е. верующей». – Б.С.), я тороплюсь отвечать, потому что кругом с меня потребовали ответа – только искренно я ни разу, – нет, раз – говорила... Решить,

решить надо! А тогда... – Я не знаю... Боже! Дайте мне веру! Дайте, дайте мне душу живую, которой бы я все рассказала».

Возможно, подобное же душевное смятение несколько ранее пережил и Михаил. Надежда Афанасьевна свидетельствует, что в результате он сделал свой выбор. В 1940 году, очевидно, вскоре после кончины брата, она вложила в дневник листок с такой записью: «1910 г. Миша не говел в этом году (факт, отмеченный в дневнике 3 марта 1910 года. – Б.С.). Окончательно, по-видимому, решил для себя вопрос о религии – неверие. Увлечен Дарвином. Находит поддержку у Ивана Павловича». Насчет И.П. Воскресенского она заметила: «Иван Павлович был, по-видимому, совершенно равнодушен к религии и спокойно атеистичен и, вместе с тем, глубоко порядочен в самой своей сущности, человек долга до мозга костей...» Быть может, здесь отразились и позднейшие впечатления в связи с болезнью и смертью Булгакова, когда он, как и в юности, выказал атеистические взгляды. Однако, как мы увидим дальше, отношение будущего писателя к вере в 1910 году было определено далеко не окончательно и еще не раз менялось. Вопрос же о том, был ли Христос Богом или только человеком, впервые заданный им сестре еще 18-летним, Булгакову пришлось впоследствии решать в «Мастере и Маргарите».

Стоит подчеркнуть, что в своем неверии Михаил тогда в семье был одинок. Как вспоминала Т.Н. Лаппа, «Варвара Михайловна была очень верующая. Варя верующей была. Она зажигала лампадки под иконами, и вообще». А Надежда Афанасьевна записала в дневнике: «3 марта 1910 г.: «Пахнет рыбой и постным. Мальчики (Н.А. и И.А. Булгаковы. – Б.С.) сегодня причащались. Мы говеем, Миша ходит и клянет обычай поститься, говоря, что он голоден страшно... он не говеет».

Н.А. Земская зафиксировала в дневнике и другие разговоры с Михаилом. Всплеск, по ее собственному выражению, «споров на мировые темы» пришелся на зиму 1912/13 года. 22 декабря 1912 года, встретившись на рождественские каникулы с братом и Александром Гдешинским, Надя пишет: «Конечно, они значительно интересней людей, с которыми я сталкиваюсь в Москве, и я бесконечно рада, что могу снова с ними говорить, спорить, что тут воскресают старые вопросы, которые надо выяснять в новом ярком освещении». В записи же от 28 декабря того же года она перечисляет темы своих споров с Михаилом: «Теперь мне надо разобраться во всем, да нет времени: гений, эгоизм, талантливость, самомнение, наука, ложные интересы, права на эгоизм, широта мировоззрения и мелочность, вернее, узость, над чем работать, что читать, чего хотеть, цель жизни, свобода человеческой личности, дерзнуть или застыть, прежние идеалы или отрешение от них, непротивление злу – сиречь юродивость, или свобода делания хотя бы зла во имя талантливости, эрудиция и неразвитость, мошенничество или ошибка...»

А вот как передает она особенности булгаковской позиции: «Миша недавно в разговоре поразил меня широтой и глубиной своего выработанного мировоззрения – он в первый раз так разоткровенничался, – своей эрудицией, не оригинальностью взглядов, – многое из того, что он говорил, дойдя собственным умом, для меня было довольно старо, – но оригинальностью всей их компоновки и определенностью мировоззрения». По мнению Надежды Афанасьевны, у брата, в отличие от нее, отсутствовала «широкая, такая с некоторых точек зрения преступная терпимость к чужим мнениям и верованиям», поскольку «у Миши есть вера в свою правоту или желание этой веры, а отсюда невозможность или нежелание понять окончательно другого и отнестись терпимо к его мнению. Необузданная сатанинская гордость, развивавшаяся в мыслях все в одном направлении за папиросой у себя в углу, за односторонним подбором книг, гордость, поднимаемая сознанием собственной недюжинности, отвращение к обычному строю жизни – мещанскому – и отсюда «права на эгоизм» и вместе рядом такая привязанность к жизненному внешнему комфорту, любовь, сознательная и оправданная самим, к тому, что для меня давно утратило свою силу и перестало интересовать. Если бы я нашла в себе силы позволить себе дойти до конца своих мыслей, не прикрываясь другими и всосанным нежеланием

открыться перед чужим мнением, то вышло бы, я думаю, нечто похожее на Мишу по «дерзновению», противоположное в некоторых пунктах и очень сходное во многом; но не могу: не чувствую за собой силы и права, что главней всего. И безумно хочется приобрести это право, и его я начну добиваться».

Эгоизм, демонстративно обозначенный Булгаковым в разговоре с сестрой, приводил его к отчуждению от других членов семьи. Надежда Афанасьевна признавалась: «И конечно, если выбирать людей, с которыми у меня могло бы быть понимание серьезное, то первый, кому я должна протянуть руку, – это Миша. Но он меня не понимает, и я не хочу идти к нему, да пока и не чувствую потребности, гордость обуяла... Правда, Миша откровенней всех со мною, но все равно... Миша стал терпимее к маме – дай Бог. Но принять его эгоизма я не могу, может быть, не смею, не чувствую за собою прав. А выйдет ли из меня что-нибудь – Бог весть?.. Во всяком случае я начну действовать, но опять-таки не могу, как Миша, в ожидании заняться только самим собой, не чувствую за собою прав...»

Из всех братьев и сестер Надя тогда была для Михаила самым близким человеком. Наверное, ни с кем больше он не был так откровенен, даже в дневнике 20-х годов, чудом дошедшем до нас, не говоря уж о письмах, писавшихся в специфических советских условиях. И брат для Нади, по крайней мере тогда, в 1910-е годы, оставался самым большим авторитетом. 8 января 1913 года она записала: «В Москве пока нет у меня таких людей, да таких, как Миша и Саша, не будет, т. к. они недюжинны».

В спорах Булгакова с сестрой звучит вечный вопрос, поставленный Достоевским: «Тварь я дрожащая или право имею?» В начале XX столетия этот вопрос вновь будоражил ум и сердце русской молодежи в связи с растущей популярностью сочинений Ницше. В позднейшем примечании к записи от 8 января 1913 года Надежда Афанасьевна так и указала: «Тогда Ницше читали и толковали о нем; Ницше поразил воображение неокрепшей молодежи». Булгаков воспринял атеизм Ницше, сестра же не решалась отринуть веру, хотя ее терзали все растущие сомнения. Это мешало ей принять ницшеанство целиком, она не была убеждена в своем «праве». Михаил, напротив, казалось, бесповоротно уверовал в свою исключительность и великое (без сомнения, тогда уже точно – писательское) предназначение. Льва Толстого как художника он ценил очень высоко, но решительно не принимал Толстого-проповедника, с порога отвергал «непротивление злу насилием», называя учение это характерным словечком «юродивость». Будущий писатель явно предпочитал «делание хотя бы зла во имя талантливости». Позднее, в «Записках на манжетах» Булгаков явно иронизировал над проповедничеством Толстого: «Видел во сне, как будто я Лев Толстой в Ясной Поляне. И женат на Софье Андреевне. И сижу наверху в кабинете. Нужно писать. А что писать, я не знаю. И все время приходят люди и говорят: «Пожалуйста обедать». А я боюсь сойти. И так дурачки: чувствую, что тут крупное недоразумение. Ведь не я писал «Войну и мир». А между тем здесь сижу. И сама Софья Андреевна идет вверх по деревянной лестнице и говорит: «Иди. Вегетарианский обед». И вдруг я рассердился: «Что? Вегетарианство? Послать за мясом! Битки сделать. Рюмку водки». Та заплакала, и бежит какой-то духовод с окладистой рыжей бородой, и укоризненно мне: «Водку? Ай-ай-ай! Что вы, Лев Иванович?» «Какой я Лев Иванович? Николаевич! Пошел вон из моего дома! Вон! Чтобы ни одного духовода!» Скандал какой-то произошел. Проснулся совсем больной и разбитый».

Эгоизм, питавшийся «необузданной сатанинской гордостью», в чисто бытовом плане нередко причинял Булгакову неприятности, вроде нараставшего отчуждения с матерью, еще чаще приносил огорчения близким – той же матери, братьям, сестрам, двум первым женам, которых он оставил. Правда, в случае с матерью были и привходящие обстоятельства. Варвара Михайловна, как мы помним, долго противилась его браку с Тасей. Михаил же очень болезненно воспринимал роман матери с И.П. Воскресенским. Неприязнь к этому роману Булгаков сохранил навсегда. Судя по всему, здесь его позиция не претерпела существенных изменений.

Надежда Афанасьевна и в 1960 году, очевидно, с учетом позднейшего общения с братом, в комментарии к цитированной записи категорически утверждала: «У Миши терпимости не было». Однако совсем не стоит сводить булгаковский эгоизм к примитивному себялюбию. Та же Н.А. Земская по поводу лозунга, выдвинутого братом: «Пусть девизом всего будет «выеденное яйцо», – писала: «Мишины слова: протест против придавания большого значения мелочам жизни, быта». Булгаков не только сознавал свою исключительность, но и утверждением своего «я» протестовал против, как он полагал, «мещанской» окружающей среды, где гений не может проявить себя. При этом он простодушно не замечал, как и всякий, в ком есть толика эгоизма (а таких – большинство в человечестве), что его собственное стремление к комфорту, «мечты о «лампе и тишине», зафиксированные в записи Н.А. Земской 8 января 1913 года, приходят в очевидное окружающим противоречие с призывами не обращать внимание на мелочи быта.

Девичий дневник Надежды Афанасьевны раскрывает нам человека ищущего, испытывающего острое душевное беспокойство, в отличие от брата, который, если судить по ее записям, к тому времени укрепился в атеизме и эгоизме, хотя, как показали дальнейшие события, и не слишком прочно. Надя же, несмотря на искушения, сохраняла тогда приверженность к христианству. В ее мировоззрении проблемы веры и неверия играли значительно большую роль, чем у Михаила. Разговоры с ним заставили Надю задуматься еще раз над «проклятыми» вопросами. В 1960 году Надежда Афанасьевна так вспоминала о своем тогдашнем смятении: «Брат задел в сестре ряд глубоких вопросов, упрекая ее в том, что она не думает над ними и не решает их... взбудоражил ее упреками в застое». Под влиянием споров с Михаилом Надя встретила, как она признавалась, «с одним из интереснейших людей, которых я когда-либо видела, моей давнишней инстинктивной симпатией – Василием Ивановичем Экземплярским». Экземплярский – старинный друг семьи Булгаковых, бессменный секретарь Киевского религиозно-просветительского общества, одним из основателей которого стал А.И. Булгаков. Экземплярский дружил с о. Александром Глаголевым, другом семейства Булгаковых и их духовником.

Василий Иванович занимал должность профессора кафедры нравственного богословия в Киевской духовной академии. Его оттуда изгнали. За работу «Л.Н. Толстой и св. Иоанн Златоуст в их взгляде на жизненное значение заповедей Христовых» определением Святейшего Синода от 26 августа 1911 года Экземплярский был лишен кафедры и уволен со службы. В той статье Экземплярский утверждал, что прошедшая через толстовское сознание «часть истины» «уже с первых веков христианства заключена в творениях великих провозвестников церковного учения». Сам же Толстой для Василия Ивановича выступил «как живой укор нашему христианскому быту и будитель христианской совести». В 1917 году Экземплярского восстановили в Академии, и вскоре после Октябрьского переворота он прочел в Киевском религиозно-просветительском обществе доклад «Старчество». Неизвестно, знали ли этот текст брат и сестра Булгаковы, но мысли Экземплярского очень созвучны их спорам. Богослов утверждал: «...С точки зрения христианского идеала, все главные устои древнего мира должны были быть осуждены. Так, например, чужд евангельскому духу был весь тогдашний строй государственной жизни, как, впрочем, таким он остается и до наших дней. Евангелие со своим заветом непротivления злу, проповедью вселенской любви, запрещением клятвы, убийства, со своим осуждением богатства и т. д. – все эти заветы, если бы были даже осуществлены в жизни, должны были повести к крушению империи. Без армии, без узаконенного принуждения в государственной жизни, без штыков, без судов, без забот о завтрашнем дне государство не может и дня просуществовать. Не менее велик был разлад и между Евангелием и человеческим сердцем самого доброго язычника. Все отдать, всем пожертвовать, возненавидеть свою жизнь в мире, распяться со Христом, отказаться от всей почти культуры, созданной веками, – все это было неизмеримо труднее, чем поклониться новому Богу, все это должно было казаться безумием, а не светом жизни. Здесь источник такого отношения к евангельскому идеалу жизни в истории христианского общества, когда евангельский идеал был сознательно или бессозна-

тельно отнесен в бесконечную высь неба, а от новой религии потребовала жизнь самого решительного компромисса, вплоть до освящения всех почти форм языческого быта, совершенно независимо от их соответствия духу и букве Евангелия».

Мысли Экземплярского были явно близки Наде. Первые десятилетия XX века в русской церковной жизни во многом напоминали первые века победившего в Римской империи христианства. Напоминали растущим разладом между христианским идеалом и жизнью церковных иерархов, превращением православной церкви в бюрократический придаток государства, против чего восставали истинно верующие, с чем призывали бороться такие разные по своим взглядам деятели религиозного возрождения начала века, как С.Н. Булгаков и Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский и В.И. Экземплярский. Не исключено, что именно благодаря сестре будущий автор «Мастера и Маргариты» познакомился со «Старчеством». Во всяком случае, в последнем булгаковском романе есть поразительные переклички с мыслями Экземплярского. Богослов принимал те части толстовского учения, которые не противоречили православию, в том числе идеи «заражения добром», изначально доброй сущности всех людей и непротivления злу. У Булгакова же проповедь Иешуа о добрых людях лишь приводит Пилата сперва к казни проповедника, а затем к убийству доносчика Иуды. У Толстого в «Войне и мире» маршал Даву, в какой-то момент почувствовав в Пьере такого же человека, как и он сам, испытал невольное сочувствие к арестанту, избавляет его от расстрела. В «Мастере и Маргарите» Пилат тоже проникается симпатией к Иешуа, что не мешает ему, однако, отправить Га-Ноцри на казнь. У Булгакова, как и у Экземплярского, Иешуа принимают за безумца, а не носителя света жизни. Автор «Старчества» прославлял тех, кто обретал евангельский идеал в монашестве, кто удалился в пустыни, «презрел мир до конца и всю свою жизнь посвятил исканию Царства Божия и правды Его на земле». Булгаковский Левий Матвей, единственный, как будто убежденный проповедью Иешуа, оставил свою должность сборщика податей, бросил деньги на дорогу и сказал, что они ему отныне стали ненавистны. Он один из немногих, кто ради нового учения готов порвать со старым миром. Однако сам Булгаков фанатизму единственного ученика Иешуа явно не сочувствует. В беседе Матвея с Воландом автор скорее разделяет аргументы последнего. Иудейская пустыня, считавшаяся землей ужаса и «тени смертной» и превращенная трудами пустынных в цветущую землю, вспоминается, когда Матвей называет своего собеседника «духом зла и повелителем теней», а в ответ Воланд обвиняет его в глупости, в отрицании теней и желании наслаждаться голым светом.

Булгаков, под влиянием Ницше качнувшийся к неверию (любопытно, что Экземплярский в 1915 году опубликовал книгу «Евангелие И. Христа перед судом Ницше»), после революции, как мы увидим, вновь вернувшийся к Богу, а в конце жизни опять отрицавший церковь, старцев, очевидно, считал фанатиками и в возрождение через их подвижничество христианского идеала не верил. Зато он, без сомнения, был вполне согласен с Экземплярским в том, что строгое осуществление евангельских заветов должно было бы привести к крушению государства со всем его развитым аппаратом принуждения, и именно о грядущем царстве истины без власти кесарей или какой-либо иной власти говорит Иешуа. В том, что государство совсем не собирается отмирать, и богослов, и писатель давно уже убедились.

Экземплярский в работе «Старчество» прославлял тех, кто достигли евангельского идеала в монашестве, удалившихся в пустыни, что «презрели мир до конца и всю свою жизнь посвятили исканию Царства Божия и правды Его на земле». Он цитировал слова аввы Дорофея своему ученику: «Не скорби, тебе не о чем беспокоиться; каждый продавший себя в послушание отцам имеет такое беспечалие и покой». В булгаковском романе Мастеру и Маргарите приходится «продавать себя в послушание» не святым старцам, а дьяволу Воланду, чтобы вновь обрести «беспечалие и покой».

Экземплярский в 20-е годы выступал непримиримым противником обновленческой живой церкви, созданной при содействии коммунистических властей. Резко негативно изоб-



разил «живоцерковников» и Булгаков в фельетоне 1923 года «Киев-город». Василий Иванович так же категорически осудил появившуюся в 1927 году Декларацию митрополита Сергия, где отрицался сам факт гонений на религию и церковь призывалась к сотрудничеству с уничтожавшей ее властью. Вероятно, под влиянием этой декларации еще в самой ранней редакции «Мастера и Маргариты», относящейся к концу 20-х годов, возник образ священника, торгующего в аукционной камере церковной утварью, а в вариантах 30-х годов православный священник был среди тех, кто уговаривал Босого и других узников сдавать валюту (в окончательный текст, *явно по цензурным соображениям*, писатель эти сцены не включил). Можно допустить, что капитуляция церкви подорвала у Булгакова веру в Бога.

Как капитуляцию, в частности, он рассматривал заявление патриарха Тихона о признании советской власти. 11 июля 1923 года Михаил Афанасьевич записал в дневнике: «Недавно... произошло замечательное событие: патриарх Тихон вдруг написал заявление, в котором отрекается от своего заблуждения по отношению к советской власти, объявляет, что он больше не враг ей и т. д. Его выпустили из заключения. В Москве бесчисленные толки, а в белых газетах за границей – буря. Не верили... комментировали и т. д. На заборах и стенах позавчера появилось воззвание патриарха, начинающееся словами: «Мы, Божьей милостью, патриарх Московский и всея Руси...» Смысл: советской власти он друг, белогвардейцев осуждает, но живую церковь также осуждает. Никаких реформ в церкви, за исключением новой орфографии и стиля. Невероятная склока теперь в Церкви. Живая церковь беснуется. Они хотели патриарха Тихона совершенно устранить, а теперь он выступает, служит etc».

Юношеский максимализм Булгакова вполне совпадал с настроениями многих представителей русского Серебряного века, с нелюбовью к богатым и сытым, роднившей Цветаеву и Блока. И это стремление к немедленному торжеству добра позднее нашло отражение в его произведениях. В фельетонах «Похождения Чичикова» и «Самогонное озеро» писатель сам превращается в фантастического демиурга, устраняющего все несправедливости и непорядки. В «Мастере и Маргарите» Булгаков передает эти функции всемогущему Воланду – подлинному воплощению «сатанинской гордости», а в эпилоге демонстрирует всю иллюзорность произведенных дьяволом изменений. Даже зло, творящее добро, по гётевскому «Фаусту», вобравшее в себя идею творения даже зла во имя талантливости, оказывается бессильно переделать общество и человеческую природу.

Сестру Надю ее вера и жажда действия и служения людям, приносящего быстрый осязаемый результат, привела к кратковременному увлечению «хождением в народ», мгновенному прикосновению к революционной деятельности. Михаил же до конца жизни подсмеивался над ее с А.М. Земским народничеством в прошлом, сам всегда сторонился толпы, черни, как и такие его герои, как Персиков в «Роковых яйцах», Преображенский в «Собачем сердце», Максудов в «Театральном романе», Мастер в «Мастере и Маргарите». К революции будущий писатель уже тогда относился более чем скептически.

Последующие события в России разрушили основания старого быта, отодвинули в неопределенное будущее реализацию мечтаний «о лампе и тишине».

И хотя вряд ли кто из окружающих думал тогда, что Булгаков станет профессиональным писателем, он, похоже, этот выбор в душе уже сделал.

## **Глава 2. «Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество!» Земской врач Михаил Булгаков 1916-1918**

Булгаков получил назначение в один из самых глухих уголков Смоленской губернии – в село Никольское Сычевского уезда – заведующим 3-м врачебным пунктом. Они с женой прибыли туда 29 сентября 1916 года – именно эта дата начала врачебной деятельности будущего писателя в Никольском стоит в удостоверении, выданном ему 18 сентября 1917 года Сычевской уездной земской управой. Но только 4 октября 1916 года врачебное отделение Московского окружного военно-санитарного управления уведомило Смоленскую губернскую земскую управу о том, что «прибывшие врачи резерва Московского окружного военно-санитарного управления Георгий Яковлевич Мгебров, Михаил Афанасьевич Булгаков и Сергей Евгеньевич Лотошенко-Глоба г. Губернатором командированы в распоряжение земской управы».

Булгаков имел твердое жалованье, достаточное для содержания семьи даже в условиях усилившейся в годы войны инфляции. Как врач резерва он получал ежемесячно 115 руб. 71 коп. Фактически заработок был больше и вплоть до июня 1917 года достигал 1500 руб. в годовом и 125 руб. в месячном исчислении за счет доплаты из средств Сычевского земства. С июня 1917 года в связи с растущей инфляцией размер военного жалованья был увеличен до 135 руб. 33 коп. при сохранении земской доплаты. Для сравнения – заработок рабочего в Санкт-Петербурге перед Первой мировой войной составлял от 25 до 65 руб. в месяц, жалование же офицера колебалось, с учетом всех дополнительных выплат, от 55 руб. в месяц у подпоручика до 325 руб. у полковника.

В написанных в 20-е годы «Записках юного врача» смоленский период своей биографии Булгаков рисовал в достаточно светлых тонах. Главный герой нес просвещение (правда, не всегда успешно) темным, необразованным крестьянам, исцелял их от недугов, а службу в земстве осознал как некую высокую миссию. Но такое чувство, скорее всего, появилось уже после связанных с революцией и Гражданской войной крутых перемен в булгаковской судьбе. Тогда же, в земстве, все представлялось молодому человеку будничным, лишенным романтики. В письме Н.А. Земской 31 декабря 1917 года он с явным сожалением отмечал: «И вновь тяну лямку в Вязьме... Я живу в полном одиночестве...» Но тут же добавляет: «Зато у меня есть широкое поле для размышлений. И я размышляю. Единственным моим утешением является для меня работа и чтение по вечерам...»

Даже в Вязьме, уездном центре, где с осени 1917 года довелось трудиться Булгакову и где имелось какое-никакое интеллигентное общество, ему оказалось не с кем общаться. Что уж тут говорить о Никольском, от которого до уездного центра Сычевки 35 верст, а до ближайшей железнодорожной станции Ново-Дугинской Николаевской дороги – 20. В этих условиях труд врача наверняка представлялся Булгакову не только тяжелой лямкой, но и единственной отдушиной в уездной глуши. Тут уж не до высокопарных помыслов о какой-то миссии. И Т.Н. Лаппа в своих воспоминаниях рисует совсем не идиллическую картину их жизни в Никольском и позднее в Вязьме. Вот ее рассказ о прибытии в Никольское: «Отвратительное впечатление. Во-первых, страшная грязь. Но пролетка была ничего, рессорная, так что не очень трясло. Но грязь бесконечная и унылая, и вид такой унылый. Туда приехали под вечер. Такое все... Боже мой! Ничего нет, голое место, какие-то деревца... Издали больница видна, дом такой белый и около него флигель, где работники больницы жили, и дом врача специальный. Внизу кухня, столовая, громадная приемная и еще какая-то комната. Туалет внизу был. А сверху кабинет и спальня. Баня была в стороне, ее по-черному топили».

По штату на Никольский врачебный пункт полагалось два врача, но в условиях военного времени Булгаков был здесь единственным доктором. Ему подчинялись три фельдшера и две акушерки. Пункт обслуживал несколько волостей Сычевского уезда с 295 селениями и более чем 37 тысячами жителей. В больнице в Никольском было 24 койки, еще 8 – в инфекционном и 2 – в родильном отделении. В инструментах и лекарствах молодой врач недостатка не испытывал: богатый медицинский инструментарий и библиотеку оставил его предшественник, обрусевший чех Леопольд Леопольдович Смирчек, проработавший врачом Никольской больницы более 10 лет, до марта 1914 года. Фигурирующего в «Записках юного врача» фельдшера Демьяна Лукича в реальности звали Емельян Фомич Трошков, а акушерок Пелагею Ивановну и Анну Николаевну – Агнией Николаевной Лобачевской и Степанидой Андреевной Лебедевой.

Тасе так запомнился приезд в Никольское: «В Смоленске переночевали и поездом отправились в Сычевку – маленький уездный городишко; там находилось главное управление земскими больницами... Мы пошли в управу... нам дали пару лошадей и пролетку... Была жуткая грязь, 40 верст ехали весь день. В Никольское приехали поздно, никто, конечно, не встречал».

Михаилу и Тасе даже дух перевести не удалось. Сразу же после приезда Булгакову пришлось проявить свое врачебное искусство в случае со сложными родами. Позднее этот эпизод послужил основой для рассказа «Крещение поворотом». Только вот отношение мужа роженицы к врачу было вовсе не столь благодушным, как это представлено в художественной версии событий. Вспоминает Т.Н. Лаппа: «В первую же ночь, как мы приехали, Михаила к роженице вызвали. Я сказала, что тоже пойду, не останусь одна в доме. Он говорит: «Забирай книги, и пойдем вместе». Только расположились и пошли ночью в больницу. А муж этой увидел Булгакова и говорит: «Смотри, если ты ее убьешь, я тебя зарежу». Вот, думаю, здорово. Первое приветствие. Михаил посадил меня в приемной, «Акушерство» дал и сказал, где раскрывать. И вот прибежит, глянет, прочтет и опять туда. Хорошо, акушерка опытная была. Справились, в общем». «И, – добавила Татьяна Николаевна, – все время потом ему там грозили».

Очень скоро, однако, Булгаков приобрел опыт и оперировал уже без учебника. Больных на приеме было очень много, к тому же Михаила часто вызывали к заболевшим в окрестные деревни. По утверждению Татьяны Николаевны, «диагнозы он замечательно ставил. Прекрасно ориентировался».

О своей жизни в Никольском Михаил рассказывал в письмах в Киев другу Саше Гдешинскому. К сожалению, они не сохранились, но содержание их известно, потому что Александр Петрович комментировал их в письмах к Н.А. Земской. Например, 14 октября 1916 года он сообщал: «От Миши получили письмо, полное юмора над своим сычевским положением. Он перефразировал аверченковское: «Я, не будучи поэтом, расскажу, как этим летом, поселился я в Сычевке, повинувшись капризу судьбы-плутки...» Но, судя по всему, такое веселое настроение продолжалось у Булгакова недолго. По крайней мере, в письме к Н.А. Земской от 1-13 ноября 1940 года (Надежда Афанасьевна спешила собрать все сведения о недавно умершем брате, думала писать воспоминания о Михаиле Афанасьевиче или его биографию) А. П. Гдешинский таким образом суммировал содержание несохранившихся булгаковских писем: «Это село Никольское под Сычевкой представляло собой дикую глушь и по местоположению, и по окружающей бытовой обстановке, и всеобщей народной темноте. Кажется, единственным представителем интеллигенции был лишь священник... Больничные дела были поставлены вроде как в чеховской палате № 6... Огромное распространение сифилиса. Помню, Миша рассказывал об усилиях по открытию венерических отделений в этих местах».

Темнота и невежество пациентов, несомненно, производили на Булгакова тягостное впечатление, а вот насчет «палаты № 6» Александр Петрович, наверное, двадцать с лишним лет спустя что-то напутал. Может быть, он воспринял стереотип советской пропаганды насчет того, что в дореволюционной России все было хуже, чем при новой власти. На самом деле о том, что медицинское обеспечение в Никольском было на высоком уровне, пишет не только сам

Булгаков в «Записках юного врача». Об этом свидетельствует и Татьяна Николаевна: перед Великой Отечественной войной ей пришлось работать медсестрой в Черемховской городской больнице, и тут, по ее словам, оснащенность больницы медикаментами и инструментами была гораздо хуже, чем в Никольском.

Незадолго до Февральской революции Булгаков получил отпуск, и они отправились навестить Тасиных родителей. Тасе запомнились «революционные перемены», происшедшие с прислугой: «В конце зимы 1917 г. Михаилу дали отпуск, мы поехали в Саратов, там застало нас известие о Февральской революции. Прислуга сказала: «Я вас буду называть Татьяна Николаевна, а вы меня – Агафья Ивановна». Жили мы в казенной квартире – в доме, где была Казенная палата... Отец с Михаилом все время играли в шахматы».

В выданном Булгакову 18 сентября 1917 года по случаю откомандирования в Вязьму удостоверении отмечалось, что за время службы в Никольском он «зарекомендовал себя энергичным и неутомимым работником на земском поприще». За период с 29 сентября 1916 года по 18 сентября 1917 года Михаил Афанасьевич принял 15 361 амбулаторного больного, а на стационарном лечении пользовал 211 человек. Получается, что в день без учета стационарных больных у Булгакова было около 50 посещений. Это исключая выходные и праздники, а также те дни, когда Булгаков уезжал за пределы Сычевского уезда. Нагрузка колоссальная, вряд ли ведомая современным врачам. В рассказе «Вьюга» Булгаков пишет даже о сотне больных в день, и, возможно, это не поэтическое преувеличение, а отражение суровой реальности наиболее горячих дней. В упомянутом удостоверении перечислены и все произведенные молодым врачом операции: «ампутация бедра 1, отнятие пальцев на ногах 3, выскабливание матки 18, обрезание крайней плоти 4, акушерские щипцы 2, поворот на ножку 3, ручное удаление последа 1, удаление атеромы и липомы 2 и трахеотомий 1; кроме того, производилось: зашивание ран, вскрытие абсцессов и нагноившихся атером, проколы живота (2), вправление вывихов; один раз производилось под хлороформным наркозом удаление осколков раздробленных ребер после огнестрельного ранения». Многие из этих операций Булгаков запечатлел позднее в рассказах: поворот на ножку – в «Крещении поворотом», ампутацию бедра – в «Полотенце с петухом», трахеотомию – в «Стальном горле», а удаление осколков раздробленных ребер после огнестрельного ранения – в «Пропавшем глазе».

Сестра Надя так суммировала деятельность брата в Никольском: «1916 год. Приехав в деревню в качестве врача, Михаил Афанасьевич столкнулся с катастрофическим распространением сифилиса и других венерических болезней (конец войны, фронт валом валил в тыл, в деревню хлынули свои и приезжие солдаты). При общей некультурности быта это принимало катастрофические размеры. Кончая университет, М.А. выбрал специальностью детские болезни (характерно для него), но волей-неволей пришлось обратить внимание на венерологию. М.А. хлопотал об открытии венерологических пунктов, о принятии профилактических мер. В Киев в 1918 году он приехал уже венерологом».

Т.Н. Лаппа также свидетельствует: «Для него было вполне естественным откликаться по первому зову. Сколько раз, отказываясь от сна и отдыха, садился в сани и в метель, и в лютую стужу отправлялся по неотложным делам в далекие села, где его ждали. Никогда не видела его раздраженным, недовольным из-за того, что больные досаждали ему. Я ни разу не слышала от Михаила жалоб на перегрузку и усталость. Он долго и тяжело переживал только в тех случаях, когда был бессилен помочь больному, но, к счастью, за всю его земскую службу таких ситуаций было очень мало. Распорядок дня сложился таким образом, что у него был перерыв только на обед, а прием часто затягивался до ночи: свободного времени тогда у Михаила просто не было. Помню, он как-то сказал: «Как хочется мне всем помочь. Спасти и эту, и того. Всех спасти».

Все отзывы сводятся к тому, что Булгаков был действительно хорошим и удачливым врачом. Сам Михаил Афанасьевич в рассказе «Вьюга» так описал будни земского врача: «Ко мне на прием по накатанному санному пути стали ездить по сто человек крестьян в день. Я пере-

стал обедать... И, кроме того, у меня было стационарное отделение на тридцать человек. И, кроме того, я ведь делал операции. Одним словом, возвращаясь из больницы в девять часов вечера, я не хотел ни есть, ни пить, ни спать... И в течение двух недель по санному пути меня ночью увозили раз пять». Зато и опыт был приобретен немалый.

Круг общения Булгакова в Никольском был неширок. Кроме жены и персонала больницы, он знал с обитателями соседней помещичьей усадьбы Муравишники, находившейся в полутора верстах от Никольской больницы. Сын владельца усадьбы и имения Василия Осиповича Герасимова, Михаил Васильевич, состоял в то время председателем Сычевской уездной управы и наверняка лично знал Михаила Афанасьевича. С вдовой же В.О. Герасимова у Булгакова, возможно, даже завязалось какое-то подобие романа. Т.Н. Лаппа вспоминала об этом: «Напротив больницы стоял полуразвалившийся помещичий дом. В доме жила разорившаяся помещица, еще довольно молодая вдова. Михаил слегка ухаживал за ней...» Татьяна Николаевна утверждала также, что никаких развлечений в Никольском не было и досуг поэтому был скуден: «Я ходила иногда в Муравишники – рядом село было (село, в отличие от усадьбы, на самом деле называлось Муравишиново. – Б.С.), там один священник с дочкой жил. Ездили иногда в Воскресенское – большое село, но далеко. В магазин ездили, продукты покупать. А то тут только лавочка какая-то была. Даже хлеб приходилось самим печь... Очень, знаете, тоскливо было».

Как кажется, в Никольском Булгаков мог ухаживать не только за вдовой-помещицей. В письме Н.А. Земской от 1-13 ноября 1940 года А.П. Гдешинский вспоминал, что в несохранившихся письмах Михаила было «упоминание о какой-то Аннушке – больничной сестре, кажется, которая очень тепло к нему относилась и скрашивала жизнь». Интересно, что в имеющем явную автобиографическую основу рассказе «Морфий» в качестве возлюбленной главного героя – врача-морфиниста – фигурирует медсестра Анна. Конечно, в этом образе отразились и какие-то черты Т.Н. Лаппа, но, скорее всего, прототипом этой медсестры послужила терапевтическая сестра Степанида Андреевна Лебедева, позднее вышедшая замуж за фельдшера А.И. Иванова. По воспоминаниям Т.Н. Лаппа, именно С.А. Лебедева делала Булгакову уколы морфия. Булгаковы имели еще домашнюю прислугу Анну Ивановну, но это была женщина с ребенком. О ней речи не могло идти. Вторая же сестра, Агния Николаевна Лобачевская, по словам Т.Н. Лаппа, – «немолодая, но довольно симпатичная, деловая». Сегодня уже трудно сказать однозначно, кто из них стал объектом булгаковского ухаживания. Думается, учитывая рассказанное в «Морфии», главным прототипом героини все-таки была С.А. Лебедева, и «Аннушка» – уменьшительное от имени Степанида.

Николай Иванович Кареев, известный историк, также жил тогда в Сычевском уезде Смоленской губернии. Он проводил лето в селах Зайцево и Аносово, в 4 верстах от села Воскресенского, где читал лекции в народном доме. В мемуарах Николай Иванович писал: «По поводу совершившейся в феврале революции приходилось вести и просто разговоры с крестьянами, приходившими к Герасимову или с встречавшимися со мною на прогулках. В первый раз мне пришлось беседовать с народом без оглядки назад. Ничего в партийном смысле им не внушал, а если что-либо и оспаривал, то их неверные политические понятия... Встречаюсь я, например, на дороге со знакомым кузнецом, идем в одну сторону, беседуем. «Я хочу, – заявляет мне мой спутник, – чтобы наша республика была социалистическая». «А что, – спрашиваю я, – вы называете социалистической республикой?» «Да такая, – последовал ответ, – в которой нет президента». Я разъясняю ему, что Швейцария, в которой нет такого президента, как во Франции или Америке, вовсе не социалистическая республика, и, делая характеристику швейцарских нравов, продолжаю: «Вот, видите ли, мы прошли вместе версты две, и нигде не встретили надписи, запрещающей ступать на чужую собственность, а в Швейцарии это бывает написано то направо, то налево, т. е. это-де частная собственность и для посторонних прохода по ней нет». Кузнец со вниманием выслушал мое объяснение и очень похвалил швейцарские порядки,

прибавив, что он сам всецело на стороне частной собственности. Он оказался выделившимся из общины хуторянином, и мне пришлось ему объяснить, что он неправильно толкует самое слово «социализм».

Упомянутый Н.И. Кареевым помещик О.П. Герасимов был двоюродным дядей владельца имения Муравишники, с которым дружили Булгаковы в Никольском. Бывал Кареев и в Муравишниках, о чем сообщает в своих мемуарах: «Только раз или два побывал я в тех Муравишниках, где провел в доме деда раннее детство... Еще до Февральской революции тамошний дом сгорел со всем содержимым по неосторожности сторожа. Бывший муравишниковский владелец, М.В. Герасимов, мой двоюродный брат от другого, не О.П., дяди, был в городе Сычевка городским головой и погиб во время, как ее звали на месте, «Еремеевской» ночи, – так в народе называли «Варфоломеевскую ночь», – (избиение имущих классов и интеллигенции, устроенное в Сычевке вскоре после Октябрьской революции. – Б.С.), «по личной, думаю, мести, оставив вдову и четырех маленьких детей».

Увлечения Булгакова женщинами пока не отражались на прочности его брака. Но случилось несчастье: Михаил пристрастился к морфию. Т.Н. Лаппа рассказывала: «Привезли ребенка с дифтеритом, и Михаил стал делать трахеотомию. Знаете, горло так надрезается? Фельдшер ему помогал, держал там что-то. Вдруг ему стало дурно. Он говорит: «Я сейчас упаду, Михаил Афанасьевич». Хорошо, Степанида перехватила, что он там держал, и он тут же грохнулся. Ну, уж не знаю, как они там выкрутились, а потом Михаил стал пленки из горла отсасывать и говорит: «Знаешь, мне, кажется, пленка в рот попала. Надо сделать прививку». Я его предупреждала: «Смотри, у тебя губы распухнут, лицо распухнет, зуд будет страшный в руках и ногах». Но он все равно: «Я сделаю». И через некоторое время началось: лицо распухает, тело сыпью покрывается, зуд безумный. Безумный зуд. А потом страшные боли в ногах. Это я два раза испытала. И он, конечно, не мог выносить. Сейчас же: «Зови Степаниду». Я пошла туда, где они живут, говорю, что «он просит вас, чтобы вы пришли». Она приходит. Он: «Сейчас же мне принесите, пожалуйста, шприц и морфий». Она принесла морфий, вприснула ему. Он сразу успокоился и заснул. И ему это очень понравилось. Через некоторое время, как у него неважное состояние было, он опять вызвал фельдшерицу. Она же не может возражать, он же врач... Опять впрыскивает. Но принесла очень мало морфия. Он опять... Вот так это и началось». Вспомним эпилог «Мастера и Маргариты», где Иван Бездомный, превратившийся в профессора Понырева, в ночь весеннего полнолуния впадает в болезненное состояние, снимаемое лишь уколom морфия, и в наркотическом сне вновь видит Иешуа и Пилата, Мастера и Маргариту, в связи с чем, как один из вариантов объяснения, все происходящее в романе может быть представлено как наркотическая галлюцинация. Подобные галлюцинации в гофмановском стиле посещают и главного героя рассказа (или небольшой повести) «Морфий».

Случай с трахеотомией произошел вскоре после Февральской революции и предпринятой сразу после нее поездки в Саратов. Как отмечала Татьяна Николаевна, зимой 1917 года Булгакову дали отпуск. Они поехали через Москву в Саратов, откуда после известия о свержении самодержавия Булгаков отправился в Киев. Там он 7 марта 1917 года забрал диплом. Вероятно, именно сообщение о революции и побудило Булгакова спешно взять документы из канцелярии университета. В Киеве он оставался до конца марта. Еще 27-го числа А.П. Гдешинский сообщал Н.А. Булгаковой, что «Миша в Киеве». Татьяна Николаевна следующими словами суммирует саратовские впечатления о революции: «...Беспокойно было, всюду толпы, погоны с себя срывают». В Никольском же по возвращении особых перемен не заметила: «Мужики как были темными, так и остались. Только прислуга наша говорит мне: «Теперь все равны, так что я не буду называть вас «барыней», а буду звать «Татьяна Николаевна» (в другой раз, описывая послереволюционные дни, Т.Н. Лаппа относилa этот эпизод к саратовской прислуге, что представляется более правдоподобным: вряд ли в глухом Никольском прислуга могла так быстро «революционизироваться»).

После Февральской революции положение в стране быстро ухудшалось. Начались трудности с продовольствием, росло, особенно с лета 1917 года, дезертирство с фронта. Возвращавшиеся с передовой приносили в тыл венерические болезни. Не миновала эта участь и Сычевский уезд.

А.П. Гдешинский вспоминал, что Булгаков писал, что местные жители стали к нему хуже относиться: «Миша очень сетовал на кулацкую, черствую натуру туземных жителей, которые, пользуясь неоценимой помощью его как врача, отказали в продаже полуфунта масла, когда заболела жена... или в таком духе». Здесь можно усмотреть намек на наступившие трудности с продовольствием и на полунатуральный характер крестьянского хозяйства, когда потребность в деньгах у жителей Никольского была невелика. Опыт общения с русскими мужиками привел к тому, что в «Записках юного врача» и «Белой гвардии» писатель не стал идеализировать русский народ или поэтизировать «крепкого хозяина» (хотя слова о «кулацкой натуре» у А.П. Гдешинского могли быть следом пропаганды эпохи коллективизации), а в других рассказах и фельетонах 20-х годов высмеивал новых богачей – нэпманов и тех, кто был сыт в эпоху «военного коммунизма» и не делился с голодающими ближними (вспомним главку «О том, как нужно есть» в «Записках на манжетах»).

Летом 1917 года к Булгаковым в Никольское приехала мать Таси Е.В. Лаппа с сыновьями Николаем и Владимиром. Старший сын Евгений, учившийся в военном училище в Петрограде, только что отправился на фронт. Как раз когда Тасины родственники гостили у Булгаковых, в Никольское из Саратова пришло письмо от отца о гибели сына в первом же бою, в ходе неудавшегося июньского наступления Юго-Западного фронта – последнего наступления русской армии в Первой мировой войне: Татьяна Николаевна вспоминала: «Вдруг от отца письмо: Женьку (брата, Е.Н. Лаппа. – Б.С.) убили... Как началась война, он вернулся из Парижа. Там он взял несколько уроков у Пикассо, научился нюхать кокаин, и этим дело кончилось. Приехал – у него одни только галстуки, цилиндр и больше ничего. Запахнули его в Петербург в военное училище. Когда отправляли гвардейцев на фронт, Керенский речь произносил, и сразу в бой. В первом же бою его убило... шрапнелью... в голову». Евгения Владимировна уехала сразу же, за ней – братья. Перед отъездом она обратила внимание дочери на болезненное состояние супруга, спросила: «Что это с Михаилом?», но Тася скрыла от матери страшную правду о страсти мужа к морфию.

Между прочим, Татьяна Николаевна считала, что именно наркомания Михаила стала одной из причин отсутствия у них детей. Впрочем, отношение к детям у Михаила, по ее словам, было сложное: «Он любил чужих детей, не своих. Потом, у меня никогда не было желания иметь детей. Потому что жизнь такая. Ну, что б я стала делать, если б у меня ребенок был? А потом, он же был больной морфинист. Что за ребенок был бы?» Вероятно, нелюбовь к своим детям и любовь к чужим были в характере Михаила Афанасьевича. Он так и не имел своих детей и не пытался их завести даже в относительно благоприятные периоды своей жизни, например, в середине 20-х годов, ни в одном из трех браков, зато нежно любил пасынка Сергея – сына Е.С. Булгаковой от брака с Е.А. Шиловским.

Скорее всего, нежелание Булгакова иметь детей также негативно сказалось на прочности двух его первых браков, а третий брак укрепило то обстоятельство, что с ними жил младший сын Елены Сергеевны. Все-таки полноценная семья, как подчеркивал в свое время философ о. Павел Флоренский (мы еще встретимся с ним на страницах этой книги), состоит не из двух, а, по меньшей мере, из трех человек.

Наркомания Булгакова доставила Татьяне Николаевне немало тяжелых минут. Она вспоминала, что когда пробовала отказаться доставлять мужу морфий, он угрожал ей оружием (браунинг Булгакову был положен как сельскому врачу), а однажды чуть не убил, запустив зажженной керосинкой. Персонал Никольской больницы начал догадываться о болезненном пристрастии доктора. Первой заподозрила неладное делавшая Булгакову уколы С.А. Лебедева.

Болезнь быстро прогрессировала, по свидетельству Т.Н. Лаппа, к концу своего пребывания в Никольском Михаил Афанасьевич нуждался уже в двух уколах морфия в день. Теперь нередко ему самому приходилось доставать наркотик. Боязнь, что недуг станет известен окружающим, а через них – и земскому начальству, по словам Татьяны Николаевны, послужила главной причиной усилий Булгакова добиться скорейшего перевода из Никольского. Жена надеялась, что переезд из деревенской глуши в город поможет мужу побороть недуг. Вот как описывала она события, связанные с переводом в Вязьму: «Потом он сам уже начал доставать (морфий. – *Б.С.*), ездил куда-то. И остальные уже заметили. Он видит, здесь уже больше оставаться нельзя. Надо сматываться отсюда. Он пошел – его не отпускают. Он говорит: «Я не могу там больше, я болен», – и все такое. А тут как раз в Вязьме врач требовался, и его перевели туда». 20 сентября 1917 года будущий писатель приступил к работе в Вяземской городской земской больнице.

Очевидно, морфинизм Булгакова не был только следствием несчастного случая с трахеотомией. Причины лежат глубже и связаны с беспросветностью жизни в Никольском. Михаил, привыкший к городским развлечениям и удобствам, наверняка тяжело и болезненно переносил вынужденный сельский быт, да еще в такой глуши, как Никольское (не случайно позднее он стал едва ли не самым урбанистским из русских писателей). Наркотик давал забытие, иллюзию отключения от действительности, рождал сладкие грезы, которых так не хватало в жизни. Булгаков надеялся, что в уездном городе, Вязьме, многое будет иначе, но ошибся...

Вяземская больница включала в себя хирургическое, родильное, инфекционное и венерическое отделения. Булгаков получил должность второго врача и заведование инфекционным и венерическим отделениями. Всего в больнице в 1916 году было 67 коек, в том числе в инфекционном отделении – 12 и в венерическом – 18. Заведовал больницей Б.Л. Нурок, кроме него и Булгакова, был еще один врач Н.Н. Тихомиров, а также фельдшер и фельдшерица-акушерка. Больница обслуживала территорию Вязьмы и окрестных волостей общей площадью в 420 квадратных верст с 27 тысячами населения (до 1914 года). Во время войны население Вязьмы увеличилось за счет беженцев, но все равно нагрузка здесь была значительно меньше, чем в Никольском, где на единственного врача приходилось в полтора раза больше жителей, чем в Вязьме – на трех врачей.

Вяземская больница находилась на северной окраине города на Московской улице, недалеко от вокзала Московско-Брестской железной дороги. Квартира второго врача, где должны были жить Булгаковы, располагалась в одноэтажном деревянном амбулаторном корпусе больницы. В ней было три комнаты. Однако Т. Н. Лаппа утверждала, что жили они не там, а довольно далеко от больницы: «Две комнаты у нас было: столовая и спальня. Там еще одна комната была, ее какая-то посторонняя женщина занимала (может быть, фельдшерица или медсестра. – *Б.С.*)».

В Вязьме главной проблемой для Булгакова оставался морфинизм. Надежды, что здесь будет не так тоскливо, как в Никольском, судя по всему, не оправдались. Это оказался, по словам Татьяны Николаевны, «такой захолустный город». И первый же день здесь начался с поисков наркотика. Т.Н. Лаппа рассказывала: «Как только проснулись – «иди ищи аптеку». Я пошла, нашла аптеку, приношу ему. Кончилось это – опять надо. Очень быстро он его использовал. Ну, печать у него есть – «иди в другую аптеку, ищи». И вот я в Вязьме там искала, где-то на краю города еще аптека какая-то. Чуть ли не три часа ходила. А он прямо на улице стоит, меня ждет. Он тогда такой страшный был... Вот, помните, его снимок перед смертью? Вот такое у него лицо было. Такой он был жалкий, такой несчастный. И одно меня просил: «Ты только не отдавай меня в больницу». Господи, сколько я его уговаривала, увещевала, развлекала... Хотела все бросить и уехать. Но как посмотрю на него, какой он – как же я его оставляю? Кому он нужен? Да, это ужасная полоса была».



В Вязьме Тасе стало особенно тоскливо, и не только из-за прогрессирующего морфинизма мужа. Она вспоминала: «В Вязьме... я хотела помогать ему в больнице, но персонал был против. Мне было там тяжело, одиноко, я часто плакала...»

Интеллигенции, с которой мог бы общаться Михаил Афанасьевич, в Вязьме почти не было, да и болезнь вряд ли располагала к общению. Не исключено, что Булгаков специально поселился не в больничной квартире второго врача, а подальше от места службы, чтобы после работы не быть на виду у коллег и легче скрывать болезнь. В рассказе «Морфий» доктор Бомгард в своем монологе передает булгаковское восприятие Вязьмы: «Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году, зимой. Незабываемый, выжженный, стремительный год! Начавшаяся вьюга подхватила меня, как клочок изорванной газеты, и перенесла с глухого участка в уездный город. Велика штука, подумаешь, уездный город?.. Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество! И вот я увидел их вновь, наконец, обольстительные электрические лампочки! Главная улица городка, хорошо укатанная крестьянскими санями, улица, на которой, чаруя взор, висели – вывеска с сапогами, золотой крендель, красные флаги, изображение молодого человека со свинными и наглыми глазками и с абсолютно неестественной прической, означавшей, что за стеклянными дверями помещается местный Базиль, за 30 копеек бравшийся вас брить во всякое время, за исключением дней праздничных, коими изобилует отечество мое...

На перекрестке стоял живой милиционер, в запыленной витрине смутно виднелись железные листы с тесными рядами пирожных с рыжим кремом, сено устилало площадь, и шли, и ехали, и разговаривали, в будке торговали вчерашними московскими газетами, содержащими в себе потрясающие известия, невдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация, Вавилон, Невский проспект.

О больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, заразное, акушерское. В больнице была операционная, в ней стоял автоклав, серебрились краны, столы раскрывали свои хитрые лапы, зубья, винты. В больнице был старший врач, три ординатора (кроме меня), фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только! С цейссовским микроскопом, прекрасным запахом красок...

О, величественная машина большой больницы на налаженном, точно смазанном ходу! Как новый винт по заранее взятой мерке, и я вошел в аппарат и принял детское отделение (М.А. Булгаков в Вяземской уездной больнице возглавил венерическое и инфекционное отделение. – Б.С.). И дифтерит, и скарлатина поглотили меня, взяли мои дни. Но только дни. Я стал спать по ночам, потому что не слышалось более под моими окнами зловещего ночного стука, который мог поднять меня и увлечь в тьму на опасность и неизбежность. По вечерам я стал читать (про дифтерит и скарлатину, конечно, в первую голову и затем почему-то со странным интересом Фенимора Купера) и оценил вполне и лампу над столом, и седые угольки на подносе самовара, и стынувший чай, и сон, после бессонных полутора лет...»

Конечно, после Никольского Вязьма могла показаться Булгакову центром цивилизации, хотя не только до Москвы, но и до Киева ей было далеко. Теперь уже ему не приходилось выезжать по вызовам в волости. Этим в Вязьме занимался уездный врач М.Л. Нурок, брат главврача больницы. И устами Бомгарда Булгаков признается: «Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете...»

Только вот между доктором Бомгардом и доктором Булгаковым есть одна принципиальная разница: литературный персонаж наркоманом не был, а автор «Морфия», к несчастью, был. В рассказе герой, от лица которого ведется повествование, сам наркоманией не страдает. Морфинистом здесь сделан товарищ автора доктор Поляков, чей дневник после самоубийства читает доктор Бомгард. Булгаков распределил факты собственной биографии между двумя персонажами, может быть, чтобы замаскировать для читателей свое прошлое пристрастие.

Возможно, будущий писатель действительно радовался благам цивилизации в Вязьме, но, очевидно, лишь в короткие периоды, когда не был одурманен наркотиком и не страдал от невозможности его принять. Две заботы тяготели над ним: достать морфий и скрыть болезнь от окружающих. В письме в Москву Н.А. Земской 3 октября 1917 года он спрашивал, «почем мужские ботинки (хорошие) в Москве», и просил выяснить в Тверском отделении Московского ломбарда судьбу заложенной там Тасиной золотой цепи под ссуду в 70 рублей. Срок выплаты по ссуде, включая льготные месяцы, истекал 6 сентября. Булгаков своевременно перевел деньги, прося билет с отметками о выплате отослать Н.М. Покровскому (жившему в Москве брату В.М. Булгаковой). Однако вплоть до начала октября о судьбе заложенной золотой цепи ничего не было известно, и Тася беспокоилась «об участии дорогой для нее вещи», подаренной матерью через полгода после свадьбы. По воспоминаниям Татьяны Николаевны, эту цепь в палец толщиной привез отец из-за границы. Заклад в конце концов благополучно выкупили, и цепь еще сослужила службу Булгаковым в трудную минуту их жизни на Кавказе. Скорее всего, ее заложили во время приезда в Москву в марте 1917 года 5-го или 6-го числа, поскольку заклад оформлялся на полгода. Деньги, вероятно, потребовались для поездки в Саратов и Киев.

В том же письме сестре Булгаков сообщал, что «если удастся, я через месяц приблизительно постараюсь заехать на два дня в Москву, по более важным делам». Скорее всего, речь здесь шла о намерении освободиться от военной службы, чтобы покинуть работу в земстве и вернуться в Киев уже не обремененным службой человеком. Однако до этой поездки произошла Октябрьская революция. Через несколько дней после победы большевистского восстания в Петрограде, 30 октября, Татьяна Николаевна писала Н.А. Земской: «Милая Надюша, напиши, пожалуйста, немедленно, что делается в Москве (там в эти дни шли бои между большевиками и сторонниками Временного правительства. — Б.С.). Мы живем в полной неизвестности, вот уже четыре дня ниоткуда не получаем никаких известий. Очень беспокоимся и состояние ужасное». Надя к тому времени уже уехала из Москвы к мужу в Царское Село, и письмо переслала ей приехавшая к Н.М. Покровскому сестра Варя. От нее или от дяди Коли Булгаковы и узнали о революции.

Из последующей поездки в Москву и Саратов Булгаков вынес довольно мрачные впечатления о пореволюционной России. 31 декабря 1917 года он писал Н.А. Земской: «В начале декабря я ездил в Москву по своим делам и с чем приехал, с тем и уехал (речь идет о неудачной попытке демобилизоваться по состоянию здоровья. — Б.С.). И вновь тяну лямку в Вязьме, вновь работаю в ненавистной мне атмосфере среди ненавистных мне людей. Мое окружающее настоящее настолько мне противно, что я живу в полном одиночестве. Зато у меня есть широкое поле для размышлений. И я размышляю. Единственным моим утешением является для меня работа и чтение по вечерам. Я с умилением читаю старых авторов (что попадетсЯ, т. к. книг здесь мало) и упиваюсь картинами старого времени. Ах, отчего я опоздал родиться! Отчего я не родился сто лет назад. Но, конечно, это исправить невозможно!

Мучительно тянет меня вон отсюда, в Москву или Киев, туда, где хоть и замирая, но все же еще идет жизнь. В особенности мне хотелось бы быть в Киеве! Через два часа придет новый год. Что принесет мне он? Я спал сейчас, и мне приснился Киев, знакомые и милые лица, приснилось, что играют на пианино...

Придет ли старое время? Настоящее таково, что я стараюсь жить, не замечая его... не видеть, не слышать!

Недавно в поездке в Москву и Саратов мне пришлось видеть воочию то, что больше я не хотел бы видеть.

Я видел, как толпы бьют стекла в поездах, видел, как бьют людей. Видел разрушенные и обгоревшие дома в Москве... Видел голодные хвосты у лавок, затравленных и жалких офицеров, видел газетные листки, где пишут в сущности об одном: о крови, которая льется и на юге, и на западе, и на востоке...»

Октябрьская революция национализацией банков сразу же подрубила под корень благосостояние Булгакова, как и всего среднего класса в стране. В том же письме он с грустью сообщал: «Я в отчаянии, что из Киева нет известий. А еще в большем отчаянии я оттого, что не могу никак получить своих денег из Вяземского банка и послать маме. У меня начинает являться сильное подозрение, что 2000 р. ухнут в море русской революции. Ах, как пригодились бы мне эти две тысячи! Но не буду себя излишне расстраивать и вспоминать о них!..»

Материальное положение Булгаковых еще больше осложнилось, так как, по свидетельству Т.Н. Лаппа, во время декабрьской поездки у Михаила Афанасьевича украли бумажник с 400 рублями, очевидно, составлявшими его трехмесячное жалованье. Откуда же у Булгакова осенью 1917 года оказались в банке такие деньги (2000 рублей), не вполне ясно и сегодня. Все булгаковское жалованье, полученное с сентября 1916 года, составляло гораздо меньшую сумму. К тому же, как явствует из текста письма от 31 декабря, часть денег он посылал матери в Киев, а его заработок во время пребывания в военном госпитале весной и летом 1916 года явно не давал возможность делать какие-либо накопления, раз в первые месяцы пребывания в Смоленской губернии им пришлось даже закладывать золотую цепь. Не исключено, что дополнительным источником дохода молодого врача стала частная практика в области венерологии, а клиентами – всё прибывавшие беженцы и дезертиры. Именно как врач-венеролог Булгаков практиковал в дальнейшем в Киеве, и довольно успешно. Н.А. Земская сообщала мужу 6 декабря 1918 года: «В августе были сведения из Киева, что... Миша зарабатывает очень хорошо».

Освободиться от военной службы и, как следствие, от работы в земстве Булгакову удалось лишь в феврале 1918 года. 19 февраля он получил удостоверение Московского уездного воинского революционного штаба по части запасной, выданное «врачу резерва Михаилу Афанасьевичу Булгакову, уволенному с военной службы по болезни». Последний раз деньги в земстве – 316 руб. 75 коп. – Булгаков получил 27 января 1918 года, вероятно, это было жалованье за декабрь и январь. В феврале он там уже не работал (из-за реформы календаря февраль в 1918 году начался в России с 14-го числа). 22 февраля Булгаков вернулся из Москвы в Вязьму и получил удостоверение Вяземской земской управы в том, что «в должности врача Вяземской городской земской больницы» «заведовал инфекционным и венерическим отделениями и исполнял свои обязанности безупречно».

Сохранился рассказ Т.Н. Лаппа об обстоятельствах отъезда из Вязьмы: «Я только знаю морфий. Я бегала с утра по всем аптекам в Вязьме, из одной аптеки в другую... Бегала в шубе, в валенках, искала ему морфий. Вот это я хорошо помню. А больше ни черта не помню. Ездил я из Вязьмы в Москву на неделю к Николаю Михайловичу (Покровскому. – Б.С.)... Страшно волновалась, как там Михаил. Потом приехала и говорю: «Знаешь что, надо уезжать отсюда в Киев. Ведь и в больнице уже заметили (морфинизм Булгакова. – Б.С.)». А он: «А мне тут нравится». Я ему говорю: «Сообщат из аптеки, отнимут у тебя печать, что ты тогда будешь делать?» В общем, скандалили, скандалили, он поехал, похлопотал, и его освободили по болезни, сказали: «Хорошо, поезжайте в Киев». И в феврале мы уехали». Дошло до того, что Татьяна Николаевна угрожала самоубийством, если они не уедут.

Конечно, эти воспоминания были зафиксированы много десятилетий спустя после описываемых событий и не могут претендовать на абсолютную точность. Фраза «А мне тут нравится» могла иметь иронический характер, а скандалы в семье, вполне возможно, касались булгаковского пристрастия к морфию, а не вопроса, надо ли уезжать из Вязьмы. Ведь письмо Н.А. Земской от 31 декабря 1917 года свидетельствует, что Булгаков явно тяготился жизнью в Вязьме и хотел вернуться в Киев. Правда, не исключено, что это письмо было написано уже после разговоров с Тасей, которой удалось убедить Михаила сменить место жительства. Отметим, что в более раннем письме сестре 3 октября никаких сетований на вяземскую жизнь и намерений перебраться в Киев еще нет. Кроме того, дополнительным стимулом к возвраще-

нию в родные места могла стать революция, в разрушительных последствиях которой Булгаков успел убедиться во время декабрьской поездки в Москву и Саратов. Татьяна Николаевна так объяснила, почему они предпочли Киев, а не Москву: «Мы ехали, потому что не было выхода – в Москве остаться было негде». В Киеве же сохранялась большая квартира на Андреевском спуске, где, правда, в тесноте, да не в обиде, вместе с братьями и сестрами Михаила, под материнской сенью можно было найти пристанище.

Вероятно, Булгаков надеялся обрести опору в родных стенах. Имея врачебный опыт, он мог рассчитывать на значительные доходы от частной практики в большом городе, особенно с такой популярной тогда специальностью. Не меньшую роль, должно быть, играла мысль, что перемена обстановки, встреча с родными и друзьями, даже киевские театры, помогут избавиться от наркомании.

И конец истории с морфием, в отличие от финала рассказа «Морфий», оказался счастливым. В Киеве, куда Булгаков приехал в феврале 1918 года, произошло почти чудо. «В первое время ничего не изменилось, – рассказывает Т.Н. Лаппа, – он по-прежнему употреблял морфий, заставлял меня бегать в аптеку, которая находилась на Владимирской улице, у пожарной каланчи. Там уже начали интересоваться, что это доктор так много выписывает морфия. И он, кажется, испугался, но своего не прекратил и стал посылать меня в другие аптеки.

Мать его, конечно же, ничего не знала об этом. И тогда я обратилась к Ивану Павловичу Воскресенскому за помощью. Он посоветовал вводить Михаилу дистиллированную воду. Так я и сделала. Уверена, что Михаил понял, в чем дело, но не подал виду и принял «игру». Постепенно он избавился от этой страшной привычки. И с тех пор никогда больше не только не принимал морфия, но и никогда не говорил об этом». Думается, Булгаков очень болезненно реагировал на то, что позднее в романе Юрия Слезкина «Девушка с гор» врач Алексей Васильевич, прототипом которого послужил Михаил Афанасьевич, показан в прошлом наркоманом.

Работая земским врачом, Булгаков, похоже, впервые начал серьезно заниматься литературным творчеством. Ни одно его произведение того времени не сохранилось, но об их содержании мы можем судить по воспоминаниям современников. А.П. Гдешинский в письме Н.А. Земской 1-13 ноября 1940 года утверждал: «Помню, Миша рассказывал об усилиях по открытию венерических отделений в этих местах. Впрочем, об этой стороне его деятельности наилучше расскажет его большая работа, которую он зачитывал в Киеве (слушателями были Варвара Михайловна, кажется, Вы, покойный брат Платон и я). К стыду своему, я заснул (время было утомительное), за что и был впоследствии отмечен соответствующим образом... Этот труд, как мне кажется, касался его деятельности в упомянутом Никольском и, как мне казалось, – не без влияния Вересаева». Возможно, здесь речь идет о ранней редакции рассказа, известного сегодняшним читателям под названием «Звездная пыль», где в центре повествования – малоуспешная из-за темноты крестьян борьба юного врача с распространением сифилиса. Наверное, особыми художественными достоинствами ранняя редакция не отличалась, раз Саша Гдешинский, тонко чувствующий и музыку, и литературу (это видно по его письмам Булгакову), заснул во время чтения. Скорее всего, рассказ был написан еще в Никольском или Вязьме, а в Киеве автор его впервые обнаружил в узком кругу родных и друзей.

Т.Н. Лаппа полагала, что в Никольском Булгаков стал писать только после начала драматической эпопеи с морфием. Такое суждение выглядит правдоподобным. На ранних стадиях пристрастие к морфию может стимулировать проявление творческих способностей человека, а разрушительное действие болезни начинает сказываться лишь позднее. Татьяна Николаевна так характеризовала состояние мужа после впрыскивания морфия: «Очень такое спокойное. Спокойное состояние. Не то чтобы сонное. Он даже пробовал писать в этом состоянии». Правда, читать написанное Булгаков почему-то не давал. Как объясняла Т.Н. Лаппа: «Или скрывал, или думал, что я дура такая и в литературе ничего не понимаю. Знаю только, что женщина и змея какая-то там... Мы вот когда в отпуске были, в кино видели, там женщина

какая-то по канату ходила... Я просила, чтоб он дал мне, но он говорит: «Нет. Ты после этого спать не будешь, это бред сумасшедшего». Показывал мне только. Какие-то там кошмары и все...» Может быть, сюжет этого не дошедшего до нас рассказа был сходен с сюжетом «Огненного змия» – рассказа, по воспоминаниям Н.А. Земской, написанного Булгаковым еще в 1912-м или 1913 году. По ее словам, там речь шла «об алкоголике, допившемся до белой горячки и погибшем во время ее приступа: его задушил (или сжег) вползший в его комнату змей (галлюцинация)». Не исключено, что оба рассказа были написаны под воздействием наркотика.

По признанию Т.Н. Лаппа, Булгаков еще в 1913 году пробовал кокаин: «Надо попробовать. Давай попробуем»... У меня от кокаина появилось отвратительное чувство... Тошнить стало. Спрашиваю: «А ты как?» – «Да спать я хочу...» В общем, не понравилось нам». Правда, при этом Татьяна Николаевна утверждала, что если у нее от кокаина началась рвота, то Михаил и после кокаина, и после морфия чувствовал себя прекрасно. Сделав укол морфия, он говорил о своих ощущениях: «куда-то плывешь» и вообще считал их замечательными. Возможно, Булгаков имел какую-то врожденную предрасположенность к наркотикам, в отличие от жены, и это обстоятельство способствовало развитию болезни.

Скорее всего, написанный в Никольском рассказ о женщине и змее (или, колебалась Татьяна Николаевна, о женщине-змее), носил название «Зеленый змий», поскольку в 1921 году Булгаков просил Н.А. Земскую забрать из Киева оставшиеся у матери рукописи – «Первый цвет», «Зеленый змий», а также черновик «Недуг», которому придавал особое значение. Рукописи были найдены и отосланы автору, который их все уничтожил.

По названию «Зеленый змий» можно предположить, что в рассказе шла речь о галлюцинации алкоголика, как и в «Огненном змие». Быть может, Булгаков специально заменил в обоих случаях наркоманию на алкоголизм, чтобы скрыть от возможных слушателей и читателей свою болезнь (в алкоголизме-то его никто из знакомых не мог заподозрить, пил он мало). Можно допустить и влияние на Булгакова написанного в 1895 году романа Александра Амфитеатрова «Жар-цвет», поскольку в нем появление змея тоже связано с галлюцинациями героев. Амфитеатров стремился рационально объяснить мистическое гипнозом и самовнушением, а галлюцинации считал следствием психических расстройств (в «Мастере и Маргарите» это – одна из версий происходящего). Позднее, в 1927 году, в «Морфии» Булгаков все-таки решился заменить алкогольные галлюцинации на наркотические, при этом не исключено, что этот рассказ подобрал материалы как «Зеленого змия», так и «Недуга» (если, конечно, под недугом Булгаков действительно в данном случае подразумевал морфинизм). Впрочем, шансы проверить все эти гипотезы близки к нулю, так как практически нет надежды, что тексты отыщутся. Скорее всего, они давно уже сгорели. Хотя чудеса случались – ведь нашлись же считавшаяся навсегда утраченной булгаковская пьеса «Сыновья муллы» и фотокопия дневника, собственноручно сожженного Булгаковым.

В Смоленской губернии Булгаков впервые узнал жизнь крестьян, увидел не только привлекательные, но и отталкивающие черты народа. Им с женой пришлось жить самостоятельно, далеко от родителей, и полагаться лишь на собственные силы. Молодого медика и будущего писателя явно тяготила напряженная и изнурительная работа земского врача, особенно в Никольском, но свои обязанности он выполнял добросовестно и доктором оказался хорошим. И все же работу в земстве Булгаков сознавал скорее как труд насильно мобилизованного (так оно и было), а не как труд по призванию. Возможно, уже тогда он думал о Чехове и Вересаеве, для которых медицина стала в конечном счете одним из истоков литературного творчества. Друзей в деревенской и уездной глуши у него не оказалось, и их место заняли книги, ставшие едва ли не единственной отдушиной. Другой, по-настоящему опасной отдушиной стал морфинизм. И именно он странным для непосвященных образом послужил толчком к началу серьезного, осознанного литературного творчества. Несмотря на сложное положение, в которое молодого врача поставила наркомания, в нем все более укреплялась вера в свое литератур-

ное призвание. При этом Булгаков явно предпочитал «старую добрую» классику новым литературным течениям конца XIX – начала XX века.

### **Глава 3. «Меня мобилизовала пятая по счету власть»**

## **Михаил Булгаков в годы гражданской войны 1918-1920**

Т.Н. Лаппа вспоминала, как они возвращались в Киев: «В начале 18-го года он освободился от земской службы, мы поехали в Киев – через Москву. Оставили вещи, пообедали в «Праге» и сразу поехали на вокзал, потому что последний поезд из Москвы уходил в Киев, потом уже нельзя было бы выехать. Мы ехали потому, что не было выхода – в Москве остаться было негде... В Киев при нас вошли немцы». Время приезда Булгакова в Киев в феврале 1918 года совпало с развертыванием полномасштабной Гражданской войны на территории бывшей Российской империи. Началось и наступление австро-германских войск, вызванное отказом большевистского правительства подписать мирный договор с Четверным союзом.

Годы Гражданской войны в булгаковской биографии характеризуются, наверное, наибольшим числом душевных потрясений, связанных с событиями братоубийственной борьбы. Это и наименее документированный отрезок жизненного пути писателя. Поэтому биографу приходится становиться здесь на зыбкую почву реконструкций, черпать сведения из булгаковских произведений и отрывочных и позднейших свидетельств современников. Документов, связанных с Булгаковым, от этого периода практически не сохранилось, да и сам он в силу ряда обстоятельств не был заинтересован в том, чтобы прояснять ряд моментов своей биографии.

Единственный документ, сохранившийся от пребывания Булгакова в Киеве в 1918–1919 годах, – это рецепт, выписанный им 5 января 1919 года Н.Н. Судзиловскому, племяннику Л.С. Карума – мужа булгаковской сестры Вари (и прототипа Тальберга в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных» – о нем мы подробнее скажем далее) и прототипу Лариосика Суржанского в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных».

Николай Николаевич Судзиловский (урожденный Николай Владимирович Капацын), по воспоминаниям его дяди Карума, «был очень шумливый и восторженный человек». Он родился 5/17 февраля 1896 года в Нижнем Новгороде в семье капитана Владимира Алексеевича Капацына и его жены Александры Семеновны. О дате рождения свидетельствуют копии метрической выписки из книг Варваринской приходской церкви Нижнего Новгорода: «5 февраля 1896 года родился, а 6 февраля крестился сын делопроизводителя управления Вельского уездного воинского начальника капитана Владимира Алексеевича Капацына и его жены Александры Семеновны, нареченный именем Николай». Однако вскоре после смерти матери, в 1908 году, Николай был усыновлен семьей своей бездетной двоюродной бабушки Варвары Федоровны, которая была замужем за статским советником Николаем Михайловичем Судзиловским. Она была дочерью статского советника Миотийского и родной сестрой матери Леонида Сергеевича Карума, Марии Федоровны Миотийской. Согласие на усыновление отец Коли дал еще в марте 1905 года, но только 13 января 1911 года по высочайшему указу было дано разрешение на изменение отчества Николая Владимировича Судзиловского на Николаевич.

Н.Н. Судзиловский, чей приемный отец служил в качестве неперемного члена Волынского губернского по воинской повинности присутствия в Житомире, в 1913 году поступил на тот же медицинский факультет Киевского университета Св. Владимира, что и Булгаков, но вскоре из-за трудностей учебы перевелся на юридический факультет. В 1915 году он был зачислен в киевское Константиновское военное училище, где преподавал его дядя Леонид Карум. По его окончании Николай Судзиловский был произведен в подпоручики, но в действующей армии ни дня не служил, тем более что она к моменту окончания им училища почти полностью разложилась. 31 января 1918 года он был признан негодным к воинской службе по состоянию здоровья и отправлен в отставку. Возможно, здесь сказались связи отца, да и здоровьем, как кажется, Коля Судзиловский действительно не блистал. Так что Лариосик был совершенно

прав, когда аттестовал себя у Турбиных «человеком невоенным». После отставки он возобновил занятия на втором курсе юрфака и был втянут в водоворот грозных событий.

В квартире Булгаковых на Андреевском спуске Судзиловский появился в октябре, а вовсе не 14 декабря 1918 года, в день падения гетмана Скоропадского, как романтический Лариосик. Т.Н. Лаппа вспоминала, что тогда у Карумов «жил Судзиловский – такой потешный! У него из рук все падало, говорил невпопад. Не помню, то ли из Вильны он приехал, то ли из Житомира. Лариосик на него похож».

В 1919 году Николай Николаевич вступил в ряды Добровольческой армии, и его дальнейшая судьба неизвестна. По словам Л.С. Карума, он погиб, но так ли это, сказать трудно, поскольку в данном случае Леонид Сергеевич питался слухами.

Т.Н. Лаппа свидетельствует, что любовь Лариосика к Елене Турбиной не была чистой выдумкой драматурга, поскольку Судзиловский действительно был влюблен в прототипа Елены – Варю Булгакову (Карум): «Родственник какой-то из Житомира. Я вот не помню, когда он появился... Неприятный тип. Странноватый какой-то, даже что-то ненормальное в нем было. Неуклюжий. Что-то у него падало, что-то билось. Так, мямля какая-то... Рост средний, выше среднего... Вообще, он отличался от всех чем-то. Такой плотноватый был, среднего возраста... Он был некрасивый. Варя ему понравилась сразу. Леонида-то не было...»

А вот как описывает жизнь в квартире на Андреевском спуске в 1918–1919 годах Л.С. Карум: «В большой булгаковской квартире осталась молодежь (Варвара Михайловна вышла замуж за киевского врача Воскресенского и переехала вместе с младшей дочерью Лелей на квартиру к мужу): Михаил с женой, дочери – Вера, Варвара с мужем, два сына, Николай, только что поступивший на медицинский факультет, и Иван, гимназист 8-го класса. Оставался еще один из племянников, Константин Петрович Булгаков, другой племянник Николай уехал в Японию (их отец, Петр Иванович Булгаков, брат А.И. Булгакова, был священником русской миссии в Токио. – Б.С.). Вся молодежь решила, что будет жить коммуной. Наняли кухарку. Каждый должен был вносить в хозяйство свой пай. Хозяйкой коммуны выбрали Варвару... Я встретился с Булгаковым во второй раз. После Октябрьской революции, с закрытием земства, Михаил приехал в Киев и занялся врачебной практикой... Он имел представительную наружность, был высокого роста, широк в плечах, узок в талии. Фигура – что надо, на ней прекрасно сидел бы фрак. Дома он отдыхал. Видно было, что привык к поклонению, пел, читал, музицировал. У него был недурной голос. Ежедневно он пел, аккомпанируя себе на пианино, арию и куплеты Мефистофеля из любимой своей оперы «Фауст», пел арию Дона Базилио из «Севильского цирюльника». Читал и перечитывал Гоголя и Диккенса, особенно восторгаясь «Записками Пиквикского клуба», которые он считал непревзойденным произведением...

Практика врачебная у Булгакова наладилась хорошо. На передней двери на улицу он соорудил таблицу со своей фамилией, написанную им самим масляными красками, с часами своего приема... Булгаков умело обставил это дело, принимая больных вместе с «ассистентом». Для ассистентской работы была приспособлена Тася. Ей был дан больничный халат. После приема Тася выполняла всю грязную работу: мыла посуду, инструменты, выносила ведра и ватные тампоны, одним словом, чистила все, что оставалось в кабинете врача по венерическим болезням.

Иногда вся коммуна делала складчину вечеринку. Приглашались знакомые, больше молодежь. Но были и пожилые. Михаил был в центре внимания и веселья. Он ставил живые картинки и шарады. Помню одну из таких шарад. Первый слог был «бал». Танцевали. Второй слог «ба». Михаил прочел кусочек из комедии Грибоедова «Горе от ума», где был стих: «Ба, знакомые все лица». Наконец, третий слог чан. Михаил притащил из кухни чан и стал делать вид, что в нем что-то варит. Наконец, все вместе – Болбочан. Эта фамилия всем киевлянам была хорошо известна. В это время происходила острая борьба Петлюры с гетманом. Болбочан был одним из петлюровских атаманов... Так коммуна и жила. Каждый в ней работал или



учился в своей области. И все было бы относительно спокойно, если бы ночью не случалось странное волнение и шум. Вставала Тася, одевалась, бежала в аптеку. Просыпались сестры, бежали в комнату к Михаилу. Почему? Оказалось, что Михаил был морфинистом, и иногда ночью после укола, который он делал себе сам, ему становилось плохо, он умирал. К утру он выздоравливал, но чувствовал себя до вечера плохо. Но после обеда у него был прием, и жизнь восстанавливалась. Иногда же ночью его давили кошмары. Он вскакивал с постели и гнался за призраками. Может быть, отсюда и стал в своих произведениях смешивать реальную жизнь с фантастикой».

Возможно, состояние наркотического бреда передано в описании болезни Алексея Турбина: «Турбин стал умирать днем двадцать второго декабря. День этот был мутноват, бел и насквозь пронизан отблеском грядущего через два дня Рождества... Он лежал, источая еще жар, но жар уже зыбкий и непрочный, который вот-вот упадет. И лицо его уже начало пропускать какие-то восковые оттенки, и нос его изменился, утончился, и какая-то черта безнадежности вырисовывалась именно у горбинки носа, особенно ясно проступавшей»; «Только под утро он разделся и уснул, и вот во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку и глумливо сказал: – Голым профилем на ежа не сядешь!.. Святая Русь – страна деревянная, нищая и опасная, а русскому человеку честь – только лишнее бремя. – Ах ты! – вскричал во сне Турбин. – Г-гадина, да я тебя. – Турбин во сне полез в ящик стола доставать браунинг, сонный, достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним, и кошмар пропал».

Если события двух русских революций 1917 года Булгаков наблюдал пусть не из прекрасного далека, но из тихой (до поры до времени) смоленской глубинки, то Гражданскую войну он переживал в двух ее пылавших очагах: в Киеве, за который шла борьба всех противоборствующих на Украине сил, и на Северном Кавказе, ставшем важной базой Вооруженных сил Юга России под командованием генерала А.И. Деникина.

Для того чтобы выявить и понять основные повороты булгаковской судьбы в Киеве в 1918–1919 годах, обратимся к автобиографическому фельетону 1923 года «Киев-город». Там Булгаков писал: «По счету киевлян, у них было 18 переворотов. Некоторые из теплушечных мемуаристов насчитали их 12; я точно могу сообщить, что их было 14, причем 10 из них я лично пережил». Первым переворотом писатель считал Февральскую революцию, а последними двумя – занятие города войсками Польши и Украинской Народной Республики 7 мая 1920 года и вступление в город Красной Армии 12 июня того же года после прорыва польского фронта конницей Буденного. Попробуем определить, во время каких переворотов Булгаков был в Киеве.

В 1923 году писатель уже твердо считал Февральскую революцию началом всех последующих бедствий. В «Киев-городе» он писал о ней так: «Легендарные времена оборвались, и внезапно и грозно наступила история. Я совершенно точно могу указать момент ее появления: это было в 10 час<sup>ов</sup> утра 2-го марта 1917 года, когда в Киев пришла телеграмма, подписанная двумя загадочными словами: «Депутат Бубликов».

Ни один человек в Киеве, за это я ручаюсь, не знал, что должны были обозначать эти таинственные 15 букв, но знаю одно, ими история подала Киеву сигнал к началу. И началось и продолжалось в течение четырех лет».

Телеграмма депутата Государственной Думы А.А. Бубликова об отречении Николая II от престола положила начало революционным событиям в Киеве. 2 марта был сформирован Исполнительный комитет объединенных общественных организаций, стоявший на позициях поддержки петроградского Временного правительства. Здесь преобладали кадеты. 3 марта возник городской совет рабочих, а 5 марта – военных депутатов. 4 марта партии и организации украинской национальной ориентации образовали Центральную Раду (Центральный Совет). Как мы помним, Булгаков в эти дни был в Киеве: он приезжал за университетским дипломом.

Следующий переворот случился в Киеве в конце октября – начале ноября 1917 года. После свержения Временного правительства в Петрограде власть в столице Украины взяла Центральная Рада (орган, представлявший население Украины), причем в ходе восстания преданные ей «украинизированные» войсковые части сражались с киевскими юнкерами, сохранившими верность Керенскому, и с частью рабочих, выступавших на стороне большевиков. В этих боях участвовал младший брат Булгакова Николай, юнкер Киевского военно-инженерного училища. События тех памятных дней отразились в булгаковском рассказе «Дань восхищения», опубликованном в одной из кавказских газет в феврале 1920 года, и в романе «Белая гвардия». Однако самого Михаила в Киеве в тот момент точно не было, он вместе с женой оставался в Вязьме. Рассказ он писал со слов очевидцев – матери и брата Николая. Строго говоря, точное название рассказа нам неизвестно. Три его фрагмента, вырезанные из газеты, Булгаков приложил к письму, адресованному сестре Вере в Киев и датированному 26 апреля 1921 года. В письме он писал: «...Посылаю три обрывочка из рассказа с подзаголовком «Дань восхищения». Хотя они и обрывочки, но мне почему-то кажется, что они будут небезынтересны вам...» Газета с полным текстом рассказа до сих пор не найдена. По воспоминаниям Н.А. Земской, рассказ назывался «Юнкер». Вот текст сохранившихся отрывков: «В тот же вечер мать рассказывает мне о том, что было без меня, рассказывает про сына: «Начались беспорядки... Коля ушел в училище три дня назад и нет ни слуху...»; «...Вижу вдруг – что-то застучало по стене в разных местах и полетела во все стороны штукатурка. А Коля... Коленька... – Тут голос у матери становится вдруг нежным и теплым, потом дрожит, и она всхлипывает. Потом утирает глаза и продолжает: – А Коленька обнял меня, и я чувствую, что он... он закрывает меня... собой закрывает».

В своем комментарии к рассказу Н.А. Булгакова следующим образом передала его содержание: «Сцена обстрела у белой стены. Герои – мать и сын. Мать навещает сына в училище, и на обратном пути он провожает ее. Они попадают под обстрел, сын закрывает мать... Об этом они рассказывают вернувшемуся старшему брату». По воспоминаниям сестры Булгакова, в «Дани восхищения» уже звучала песня, ставшая популярной после премьеры «Дней Турбиных»: «Здравствуйте, дачники, здравствуйте, дачницы, съемки у нас уж давно начались!» В рассказе описывались реальные события, происшедшие с В.М. и Н.А. Булгаковыми в конце октября 1917 года в Киеве. 10 ноября Варвара Михайловна извещала о происшедшем дочь Надежду и ее мужа Андрея Михайловича Земского, в то время находившихся в Царском Селе: «Что вы пережили немало треволнений, могу понять, т. к. и у нас здесь пришлось пережить немало. Хуже всего было положение бедного Николайчика как юнкера. Вынес он порядочно потрясений, а в ночь с 29-го на 30-е я с ним вместе: мы были буквально на волосок от смерти. С 25-го октября на Печерске начались военные приготовления, и он был отрезан от остального города. Пока действовал телефон в Инженерном училище, с Колей разговаривали по телефону; но потом прервали и телефонное сообщение... Мое беспокойство за Колю росло, я решила добраться до него и 29-го после обеда добралась. Туда мне удалось попасть; а оттуда, когда в 7 1/2 часов вечера мы с Колей сделали попытку (он был отпущен на 15 минут проводить меня) выйти в город мимо Константиновского училища – начался знаменитый обстрел этого училища. Мы только что миновали каменную стену перед Константиновским училищем, когда грянул первый выстрел. Мы бросились назад и укрылись за небольшой выступ стены; но когда начался перекрестный огонь по училищу и обратно, – мы очутились в сфере огня – пули шлепались о ту стену, где мы стояли. По счастью, среди случайной публики (человек 6), пытавшейся здесь укрыться, был офицер: он скомандовал нам лечь на землю, как можно ближе к стене. Мы пережили ужасный час: трещали пулеметы и ружейные выстрелы, пули «цокались» о стену, а потом присоединилось уханье снарядов...

Но, видно, наш смертный час еще не пришел, и мы с Колей остались живые (одну женщину убило), но мы никогда не забудем этой ночи... В короткий промежуток между выстре-

лами мы успели (по команде того же офицера) перебежать обратно до Инженерного училища. Здесь уже были потушены огни; вспыхивал только прожектор; юнкера строились в боевой порядок; раздавалась команда офицеров: Коля стал в ряды, и я его больше не видела... Я сидела на стуле в приемной, знала, что я должна буду там просидеть всю ночь, о возвращении домой в эту страшную ночь нечего было и думать, нас было человек восемь такой публики, застигнутой в Инженерном училище началом боевых действий. Когда я пришла в себя после пережитого тревожения, когда успокоилось ужасное сердцебиение (как мое сердце только вынесло перебежку по открытому месту к Инженерному училищу) – уже снова начали свистать пули, – Коля обхватил меня обеими руками, защищая от пуль и помогая бежать... Бедный мальчик, как он волновался за меня, а я за него...

Минуты казались часами, я представляла себе, что делается дома, где меня ждут, боялась, что Ванечка кинется меня искать и попадет под обстрел... И мое пассивное состояние превратилось для меня в пытку... Понемногу публика выползла из приемной в коридор, а потом к наружной двери... Здесь в это время стояли два офицера и юнкер артиллерийского училища, тоже застигнутые в дороге, и вот один из офицеров предложил желающим провести их через саперное поле к бояням на Демиевке: этот район был вне обстрела... В числе пожелавших пуститься в этот путь оказались 6 мужчин и две дамы (из них одна я). И мы пошли... Но какое это было жуткое и фантастическое путешествие среди полной темноты, среди тумана, по каким-то оврагам и буеракам, по непролазной липкой грязи, гуськом друг за другом при полном молчании, у мужчин в руках револьверы. Около Инженерного училища нас остановили патрули (офицер взял пропуск), и около самого оврага, в который мы должны были спускаться, вырисовывалась в темноте фигура Николайчика с винтовкой... Он узнал меня, схватил за плечи и шептал в самое ухо: «Вернись, не делай безумия. Куда ты идешь? Тебя убьют!», но я молча его перекрестила, крепко поцеловала, офицер схватил меня за руку, и мы стали спускаться в овраг... Одним словом, в час ночи я была дома (благодетель офицер проводил меня до самого дома). Воображаете, как меня ждали? Я так устала и физически и морально, что опустилась на первый стул и разрыдалась. Но я была дома, могла раздеться и лечь в постель, а бедный Николайчик, не спавший уже две ночи, вынес еще два ужасных дня и ночи. И я была рада, что была с ним в ту ужасную ночь... Теперь все кончено... Инженерное училище пострадало меньше других: четверо ранено, один сошел с ума».

Тема «Дани восхищения» получила дальнейшее развитие в «Белой гвардии», где Николка Турбин, напевая «Съемки», вспоминает бой у Инженерного училища в октябре 1917 года. Не исключено, что «Дань восхищения» дала идею еще одному булгаковскому рассказу, появившемуся в 1922 году, – «Красная корона». Там гибнущий брат главного героя Коля рефреном повторяет, являясь старшему брату в безумных видениях: «Я не могу оставить эскадрон». Последняя фраза погибшего брата: «Я не могу оставить эскадрон», рефреном повторяющаяся в больном сознании рассказчика, восходит, быть может, к следующему свидетельству матери из уже цитировавшегося письма: «...Раздавалась команда офицеров: Коля стал в ряды, и я его больше не видела...» Сам же безумный герой-рассказчик – это как бы тот единственный, кто сошел с ума во время октябрьских боев в Киеве.

Еще одним толчком к созданию «Красной короны» могла послужить смерть В.М. Булгаковой. В бреду главный герой вспоминает слова, которые говорила мать:

«Верни Колю. Верни. Ты старший». Квартира, которую он видит во сне, – это булгаковская квартира в Киеве на Андреевском спуске, 13, будущий «дом Турбиных» в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных». Упомянутого в «Красной короне» рабочего, повешенного на фонаре в Бердянске (по мысли главного героя, он должен являться по ночам генералу-вешателю), Булгаков, возможно, действительно видел в этом городе во время переезда по железной дороге вместе с Терским казачьим полком из Киева на Северный Кавказ осенью 1919 года. Ведь Бердянск в то время был ареной действий Повстанческой армии «батьки» Н.И. Махно

– предводителя южноукраинских анархистов, и деникинская власть в борьбе с махновцами и большевистским подпольем применяла самые жестокие репрессии.

К помешательству героя рассказа приводит малодушие, проявленное тогда, когда он не сумел воспротивиться генералу-вешателю, не выступил против казни неизвестного в Бердянске, не забрал брата немедленно с поля боя. По Булгакову, протест против насилия – моральный долг всякого интеллигентного человека. Рассказчик в «Красной короне» обвиняет генерала: «Кто знает, не ходит ли к вам тот грязный, в саже, с фонаря в Бердянске? Если так, по справедливости мы терпим. Помогать вам повесить я послал Колю, вешали же вы. По словесному приказу без номера». Невозможность искупить вину приводит к тому, что «не тает бремя», и призрак всадника в красной короне (брата с разбитой головой) продолжает мучить рассказчика. В «Беге» Хлудов, вешающий людей устными «безномерными» приказами, раскаивается и возвращается держать ответ. В результате его оставляет призрак повешенного и «тает бремя».

К Центральной Раде, равно как и к гетману Скоропадскому, Булгаков до конца жизни сохранил сугубо отрицательное отношение. Избрание Центральной Рады в апреле 1917 года и ее последующие действия он иронически охарактеризовал в «Белой гвардии»: «Когда же к концу знаменитого года в Городе произошло уже много чудесных и странных событий и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из Города на фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они останутся здесь, в Городе, ибо это их Город, украинский город, а вовсе не русский».

Третий раз власть в Киеве сменилась 26 января 1918 года, когда Красная Армия вытеснила войска Центральной Рады из города. Это стало следствием скоротечной украинско-русской войны. Еще до ее начала Центральная Рада своим Третьим универсалом провозгласила создание Украинской Народной Республики (УНР) как части федеративной Российской Республики. Одновременно ликвидировалась частная собственность на землю, помещичьи земли передавались крестьянам, вводился 8-часовой рабочий день, а евреям и полякам гарантировалась национально-территориальная автономия. После того как 4 декабря Совнарком предъявил Центральной Раде невыполнимый ультиматум и начались боевые действия, в Киеве был взят курс на полную независимость. 9 января 1918 года, в день созыва Украинского учредительного собрания, был провозглашен Четвертый (и последний) универсал Центральной Рады, объявлявший полную государственную независимость Украины. Все эти постановления остались только на бумаге. Украинские войска не могли сдержать натиск красногвардейских отрядов, возглавлявшихся левым эсером подполковником М.А. Муравьевым. Положение усугубилось тем, что генеральный секретарь (министр) Рады по военным делам С.В. Петлюра, единственный политический деятель, пользовавшийся популярностью в только еще рождающейся украинской армии, из-за разногласий с другими руководителями Рады в конце декабря вышел в отставку и сформировал Гайдамацкий кош (полк) Слободской Украины, во главе которого смог в январе подавить пробольшевистское восстание рабочих завода «Арсенал», но удержать Киев все равно не смог.

По этому поводу Булгаков заметил в «Белой гвардии»: «Людей в шароварах в два счета выгнали из Города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с равнины, ведущей к Москве».

Вообще Центральная Рада мало чем отличалась в лучшую сторону от недавно свергнутого Временного правительства. Это был недееспособный орган, погрязший в дрязгах партий и политиков, не обладающий ясно выраженной единой волей, столь необходимой в чрезвычайных условиях революции и Гражданской войны. Но тут следует отметить, что теми же чертами обладали и другие украинские органы власти: гетманщина, Директория и даже советское правительство Украины, очень быстро превратившееся в марионетку московского Совнаркома и

оказавшееся не в состоянии справиться с местными «батьками» и атаманами. Что ж, вполне оправдалась поговорка: «Где два украинца, там три гетмана».

Через несколько дней после этого, по горячим следам событий, Булгаковы вернулись в Киев. Вероятно, сюда они приехали сразу же после 22 февраля, когда Михаил Афанасьевич получил удостоверение о своей службе в Вяземской земской управе. Как раз 22 февраля 1918 года германские и австро-венгерские войска вошли на Украину в соответствии с договором, заключенным с Центральной Радой. Татьяна Николаевна вспоминала, что отбыли из Вязьмы они в феврале, причем «в Киев мы ехали через Москву. Остановились у дяди Коли (Н.М. Покровского. – Б.С.), Михаил получил документы, мы оставили там кое-какие вещи и уехали в Киев». В город они приехали скорее всего 24-го или 25-го, через две недели после его занятия красными. Но советская власть не успела тогда укрепиться в Киеве. Уже 1 марта в город при поддержке австро-германских войск вернулась Центральная Рада. Первым в город вошел Гайдамацкий кош во главе с Петлюрой. Правительство Украинской Народной Республики было признано державами Четверного союза в Бресте еще 9 февраля. Эту смену властей Булгаковы наблюдали воочию. По свидетельству Татьяны Николаевны, немцы вошли в город уже при них.

Новый переворот не заставил себя долго ждать. Правительство бывшей Центральной Рады, представленное в основном партиями социалистической ориентации и выступавшее за радикальные аграрные преобразования, не устраивало Германию и Австро-Венгрию, рассчитывавших получить с Украины практически задаром продовольствие для своего голодающего в условиях антантовской блокады населения.

Германское и австро-венгерское командование преследовало одну цель – обеспечить из Украины регулярные поставки сельскохозяйственной продукции в Германию и Австро-Венгрию. 6 апреля главнокомандующий германскими войсками на Украине фельдмаршал Герман фон Эйхгорн издал приказ, в котором требовал организованно провести посевную кампанию. При этом подчеркивалось, что урожай будет принадлежать тем, кто засеет площади. Крестьяне, не засеявшие хотя бы часть своих земель, будут наказаны. Кроме того, крестьяне должны были помогать в обработке помещичьих земель. Приказ фельдмаршала вызывал недовольство Центральной Рады. Украинский МИД заявил по поводу приказа Эйхгорна официальный протест Германии, а Министерство земельных дел оповестило крестьян, что злополучный приказ выполнять не следует. Министерство же юстиции своим распоряжением объявило, что немецко-австрийские войска не имеют права казнить и подвергать заключению украинских граждан по приговорам своих полевых судов, поскольку в Украине существуют собственные гражданские и военные суды.

После этого судьба Центральной Рады была решена. При поддержке оккупационных властей 29 апреля 1918 года в городском цирке на «съезде хлеборобов», состоявшем почти исключительно из крупных землевладельцев, гетманом Украины был избран потомок украинского гетмана XVIII века Павел Петрович Скоропадский, генерал-лейтенант царской службы, ранее возглавлявший 1-й Украинский корпус Центральной Рады и ушедший в отставку одновременно с Петлюрой. Он был готов безропотно исполнять все распоряжения немцев и австрийцев. Поводом к перевороту послужил арест по приказу Рады киевского банкира Юрия Доброго, члена финансовой комиссии на переговорах с немцами, обвиненного в ряде финансовых преступлений. В ответ немецкие войска арестовали несколько министров (секретарей) Центральной Рады и санкционировали проведение марионеточного Съезда хлеборобов. Это событие Булгаков в «Белой гвардии» прокомментировал с нескрываемой иронией: «В апреле восемнадцатого, на Пасхе, в цирке весело гудели матовые электрические шары и было черно до купола народом. Тальберг стоял на сцене веселой, боевой колонной и вел счет рук – шароварам крышка, будет Украина, но Украина «гетьманская», – выбирали «гетьмана всея Украины»... по какой-то странной насмешке судьбы и истории, избрание его, состоявшееся в апреле знаме-

нитого года, произошло в цирке. Будущим историкам это, вероятно, даст обильный материал для юмора».

Скоропадский провозгласил создание «Украинского государства», находившегося в полной зависимости от поддержки Центральных держав. С. В. Петлюра сразу по возвращении в Киев из-за неприятия австро-германской оккупации вышел в отставку и возглавил Всеукраинский земский союз. Он резко критиковал политику гетмана, восстановившего помещичье землевладение и 12-часовой рабочий день и преследовавшего демократические организации. В начале июля Петлюра был арестован. Его выпустили из Лукьяновской тюрьмы 12 ноября, по требованию социалистов, вошедших в коалиционное правительство гетмана, в самый канун большого антигетманского восстания. Все эти события Булгаков довольно точно описал в «Белой гвардии».

Уже с лета по всей стране полыхали крестьянские восстания. После их поражения в Первой мировой войне и начала эвакуации австро-германских войск с Украины против гетмана в ноябре 1918 года все эти восстания слились в единое мощное восстание, когда восстали практически все украинские части гетманской армии. Восстание было также поддержано горожанами-украинцами. Во главе его встали бывшие руководители Центральной Рады – С.В. Петлюра и писатель В.К. Винниченко, лидеры разных фракций украинских социал-демократов. 14 ноября они образовали Украинскую Директорию (третий руководитель Центральной Рады, историк М.С. Грушевский, в нее не вошел), причем Петлюра стал главой армии Директории (головным атаманом), а Винниченко – главой правительства.

К личности Петлюры Булгаков относился сугубо отрицательно и с иронией писал о нем в фельетоне «Киев-город»: «Рекорд побил знаменитый бухгалтер, впоследствии служащий союза городов Семен Васильевич Петлюра. Четыре раза он являлся в Киев, и четыре раза его выгоняли». Он считал вождя украинского национального движения фигурой несерьезной, во многом мифической: «...В городскую тюрьму однажды светлым сентябрьским вечером пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, коей предписывалось выпустить из камеры № 666 содержащегося в означенной камере преступника... Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование – Семен Васильевич Петлюра. Сам он себя, а также городские газеты периода декабря 1918 – февраля 1919 годов называли на французский манер – Симон. Прошлое Симона было погружено в глубочайший мрак... Не было! Не было этого Симона вовсе на свете. Ни турка, ни гитары под кованым фонарем на Бронной, ни земского союза... ни черта. Просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного 18-го года».

Какова же была реальная биография Симона (Семена) Васильевича Петлюры? Он родился 10/22 мая 1879 года в Полтаве, в семье извозчика. Учился в духовной семинарии, потом в Харьковском университете, а закончил образование во Львовском университете в австрийской Галиции. В 1900 году Симон вступил в нелегальную Революционную украинскую партию (РУП). Придерживался левых социалистически-националистических взглядов. В 1902–1904 годах Петлюра работал ассистентом-исследователем в экспедиции члена-корреспондента Российской академии наук Ф.А. Щербины, который занимался систематизацией архивов Кубанского казачьего войска и работал над фундаментальным трудом «История Кубанского Казачьего Войска». Вернувшись в Киев, Петлюра уже осенью 1904 года из-за полицейских преследований был вынужден эмигрировать во Львов. После Октябрьского манифеста он вернулся в Киев, где принял участие во II съезде РУП. После раскола РУП и создания Украинской социал-демократической партии Петлюра стал членом ЦК УСДРП. В январе 1906 года он уехал в Петербург, где редактировал ежемесячник УСДРП «Свободная Украина», однако уже в июле возвратился в Киев, где, по рекомендации историка М.С. Грушевского, работал секретарем редакции газеты «Совет», издававшейся Радикально-демократической партией, впоследствии в журнале «Украина», а с 1907 года – в легальном журнале

УСДРП «Слово». Осенью 1908 года Петлюра вновь оказался в Петербурге, где работал в журналах «Мир» и «Образование». Он стал довольно известным журналистом и писал как на украинском, так и на русском языках. В 1910 году Симон Васильевич женился на учительнице Ольге Афанасьевне Петлюра (Бельской) (1885–1959). В 1911 году у них родилась дочь Леся, ставшая впоследствии известной украинской поэтессой, и семейство переехало в Москву. Там Петлюра работал бухгалтером в страховой компании и на общественных началах до 1914 года редактировал журнал «Украинская жизнь».

В 1916–1917 годах Симон Васильевич состоял председателем Главной контрольной комиссии Земского союза по Западному фронту, занимая оборонческую позицию, а после Февральской революции 1917 г. стал председателем Украинского фронтового комитета. С июня по 18/31 декабря 1917 года Петлюра – генеральный секретарь (министр) Центральной Рады по военным делам, занимался формированием украинской национальной армии, которую хотел создавать на регулярной основе. В период с 4 по 11 (17–24) декабря по приказу Петлюры и командующего Украинским (б. Румынским) фронтом генерала Д.Г. Щербачёва войска, верные Центральной Раде, захватили штабы Румынского и Юго-Западного фронтов, армий, вплоть до штабов некоторых полков, произвели аресты членов Военно-революционных комитетов и комиссаров-большевиков, при этом некоторых из них расстреляли. Из-за отказа Центральной Рады решительно противостоять советскому наступлению на Украину Петлюра вышел в отставку. Он сформировал из старшин и казаков киевских военных школ добровольческий Гайдамацкий кош Слободской Украины и возглавил его.

После возвращения в Киев Центральной Рады вместе с австро-германскими войсками в марте 1918 года, Петлюра, первым вошедший в город со своим отрядом, вышел в отставку и на первом киевском губернском земском собрании был избран председателем Киевской земской управы, а впоследствии – председателем управы Всеукраинского земского союза. 27 июля 1918 года Петлюра был арестован по распоряжению правительства гетмана П.П. Скоропадского (1873–1945). 13 ноября 1918 года он был освобожден из заключения по требованию германского командования, на которое давили германские социал-демократы. Скоропадский утверждал, что «вынужден был освободить Петлюру по настоянию немцев, которые угрожали в противном случае освободить его силой». 14 ноября 1918 года в Белой Церкви Петлюра вместе с Владимиром Кирилловичем Винниченко, известным писателем и лидером УСДРП, обнародовал воззвание о восстании против Скоропадского, создал Директорию Украинской Народной Республики – коллективный правительственный орган из представителей оппозиционных режиму гетмана партий и был провозглашен головным атаманом – главнокомандующим войсками Директории. 14 декабря 1918 года войска Директории взяли Киев и свергли власть Скоропадского. Но уже 3 февраля 1919 года войска Петлюры без боя покинули Киев под натиском Красной Армии. 31 августа 1919 года они вновь заняли город, но были вынуждены уйти в тот же день под давлением белой Добровольческой армии. В мае 1920 года правительство УНР во главе с Петлюрой при поддержке польских войск вернулось в Киев, но уже в июне оставили его. После заключения советско-польского перемирия 12 октября 1920 года и поражения, нанесенного Красной Армией украинским войскам в ноябре 1920 года, Петлюра эмигрировал в Польшу, которую вынужден был покинуть в 1923 году после требования советского правительства о его выдаче. С 1924 года Петлюра с семьей поселился во Франции. Публиковал статьи в украинских изданиях за пределами СССР. 25 мая 1926 года Симон Васильевич Петлюра был убит в Париже еврейским поэтом и анархистом Самуилом Исааковичем Шварцбардом (1886–1938), мстившим за еврейские погромы, проводившиеся украинскими войсками. В октябре 1927 года убийца Петлюры был оправдан французским судом. В его защиту выступили философ Анри Бергсон, художник Марк Шагал, писатели Ромен Роллан, Анри Барбюс, Максим Горький, физики Альберт Эйнштейн и Поль Ланжевен, Александр Керенский и др. Шварцбард был близок Нестору Ивановичу Махно (1888–1934), который тщетно отговаривал

его от задуманного убийства, утверждая, что Петлюра, в правительстве которого были евреи, никогда не был антисемитом и погромщиком. Махно неудачно пытался предупредить Симона Васильевича об опасности. Об этом Нестор Иванович говорил и на суде над Шварцбардом. Существует версия, основанная на показаниях некоторых советских перебежчиков, что убийство «головного атамана» было организовано ОГПУ.

Булгаков к деятельности Петлюры относился крайне отрицательно и идее образования независимого Украинского государства нисколько не сочувствовал. В романе «Белая гвардия» Петлюра, среди прочего, именуется «земгусаром» – презрительная кличка, которой фронтовые офицеры называли сотрудников Союза земств и городов, работавших в тылу по снабжению войск. Петлюра же в годы Первой мировой войны был председателем Главной контрольной комиссии Земского союза по Западному фронту, а после Февральской революции – председателем Украинского фронтового комитета. Вероятно, писатель был знаком с очерком А. Павловича «Петлюра», появившимся в апреле 1919 года в ростовском журнале «Донская волна». Его автор говорит о неясности прошлого своего героя: «...Воспитывался, если не ошибаюсь, в семинарии, или вообще в каком-то духовном учебном заведении, затем учился в Харьковском университете и закончил образование, кажется, в Австрии». Павлович передает и широко распространившиеся противоречивые слухи о Петлюре: «Петлюра поднял восстание против гетмана!» – «Петлюра мятежник! Петлюра – большевик!» – «Петлюра в Полтаве, Петлюра в Киеве, Петлюра в Фастове». Везде он воодушевляет войска, везде он произносит речи. И между тем никто не видит и не знает Петлюру... Петлюра нечто мифическое». Автор очерка признавал, что если настроение петлюровского войска «все же стало клониться к большевизму – то сдержать этого явления Петлюра при всем желании не мог».

Вместе с тем Павлович относился к головному атаману, который тогда, весной 1919 года, еще не был повержен, с уважением и без антипатии, считая «головного атамана» «умным человеком» и «честным революционером», неповинным, в частности, в еврейских погромах, творимых его солдатами, которых Симон Васильевич был не в состоянии обуздать (еврейские погромы на Украине и вообще в «черте оседлости» устраивали военнослужащие всех противоборствующих армий).

Петлюра действительно пытался бороться с еврейскими погромами, но это не оказывало должного воздействия на его разношерстное и плохо дисциплинированное войско, к которому то присоединялись, то покидали его различные атаманы со своими отрядами. Так, после того, как Запорожская бригада атамана Семесенко 5 марта 1919 года вырезала более тысячи евреев Проскурова, Петлюра приказал расстрелять Семесенко, что и было осуществлено 20 марта. На суде защита Шварцбарда выдвинула версию, что расстрел был инсценировкой, и Семесенко позволили бежать, хотя никаких доказательств этого приведено не было. Летом 1919 года Петлюра издал приказ, запрещающий погромы евреев под страхом суровых наказаний, но он в основном остался на бумаге.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.